

1999

1999



Е. Маурин

МОГИЛЬНЫЙ ЦВЕТOK ВОЗЛЮБЛЕННАЯ ФАВОРИТА

Annotation

В романах Евгения Ивановича Маурина разворачивается панорама исторических событий XVIII века. В представленных на страницах двухтомника произведениях рассказывается об удивительной судьбе французской актрисы Аделаиды Гюс, женщины, через призму жизни которой можно проследить за ключевыми событиями того времени.

В первый том вошли романы «Могильный цветок» и «Возлюбленная фаворита».

- [Евгений Маурин](#)
 - [ГЛАВА ПЕРВАЯ](#)
 - [I](#)
 - [II](#)
 - [III](#)
 - [IV](#)
 - [V](#)
 - [VI](#)
 - [VII](#)
 - [ГЛАВА ВТОРАЯ](#)
 - [I](#)
 - [II](#)
 - [III](#)

- [IV](#)
- [V](#)
- [VI](#)
- [VII](#)
- [VIII](#)
- [IX](#)
- [X](#)
- [XI](#)

- [ГЛАВА ТРЕТЬЯ](#)

- [I](#)
- [II](#)
- [III](#)
- [IV](#)
- [V](#)
- [VI](#)
- [VII](#)

- [notes](#)

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)

Евгений Маурин

Могильный цветок

ГЛАВА ПЕРВАЯ

I

Я, Гаспар Тибо Лебеф, пишу эти воспоминания в назидание молодому поколению. Я стар, много видел, много пережил, перестрадал, и теперь смерть так близко витает около меня, что по временам я даже слышу змеиное шуршание ее ласковых крыльев. Что же, я с тихой радостью жду свою последнюю гостью: в девяносто два года жизнь представляется далеко не таким благом, как в шестнадцать.

И одно только удерживает меня, заставляет цепляться за остаток дней. Ну хорошо! Я умру – туда мне и дорога, одинокому, запоздавшему путнику; но ведь вместе со мною умрет все пережитое, вместе со мною истлеет жизненный опыт, доставшийся такой тяжелой ценой!

Да, много блестящих, величественных и ужасных картин прошло перед моими глазами. Безудержная

картин прошю перед моими глазами. Безудержная роскошь Людовика XV, трагедия Людовика XVI, пострадавшего за грехи предков, дни террора и безумия, искрометная карьера Наполеона, его слава и падение, неистовство «союзников», явившихся восстанавливать чуждых и им, и нам Бурбонов, июльская революция – всему этому был я свидетелем. А Екатерина II, Густав III, Христиан VII, блеск их дворов, пышность их жизни!

Но не в этих полных суетного тщеславия картинах заключено то, что мне хотелось бы передать потомству, что еще приковывает меня к жизни. Моя душа уже давно мертва, и не прельщают ее образы земного величия. Все – прах и суета, все – обманная мишура... Нет, моя личная печальная судьба да послужит молодежи предостережением, и о ней-то я и хочу рассказать. За краткие минуты чувственного наслаждения я заплатился всей жизнью; неосторожная, преступная клятва сделала меня рабом разнузданной женщины, той самой, что подобно могильному цветку пышно разрослась на гнойнике монархии. И вот что я теперь!.. Труп, обреченный одновременно и на загробные муки, и на терзания земной жизни.

В назидание молодому поколению я, Гаспар Тибо Лебеф, расскажу, как это случилось и что из этого произошло. Вся моя жизнь, тесно связанная с жизнью злосчастной Аделаиды Гюс, пройдет перед глазами читателя. По большей части прошлое живо стоит перед

моими глазами, но да простится мне, если кое-что затуманилось в памяти. Я стар, могу спутаться в мелких деталях, фактах и числах. Что за беда, если бесспорным и верным останется тот вывод, ради которого я и предпринял эту непосильную в моем возрасте работу?

Итак, с Богом!.. Впрочем, сначала еще одна оговорка, читатель: многое из того, о чем я расскажу здесь в последовательном порядке, стало мне известно из сообщений других лиц, и иногда я узнавал о них только через несколько лет после происшедшего. Все равно, ради удобства воспоминаний и связности рассказа, я буду описывать события не в том порядке, как они мне раскрывались, а как они происходили на самом деле, и связывать лично виденное с тем, что узнал впоследствии.

Однако все оговорки да оговорки! Вот что значит старость: бродишь вокруг да около и никак не приступишь к делу! Так с Богом! Прими, о юный читатель, эту правдивую исповедь заболевшего сердца и извлеки из нее тот урок, которого так недостает твоей неопытности. «Женщина – исчадие ада!» Да сопутствует тебе это изречение святых отцов на всех путях твоих!

II

Ни отца, ни матери я никогда не знал, так как оба они трагически погибли вскоре после моего рождения.

Отец умер потому что, спасая из пожара люльку с дорогим ему новорожденным, сам получил тяжкие ожоги, а мать не могла перенести смерть отца и в припадке тоски повесилась. Таким образом я с шестимесячного возраста оказался на попечении двоюродного брата отца, аббата Дюпре, служившего в предместье тихого приморского городка Лориен (в Бретани).

С самого детства океан глубоко волновал меня, принося вместе с прибоем волн какие-то смутные грезы и желания. Мне казались невыносимыми тишина и бледность моей жизни, и мечта звала куда-то вдаль, в неизведанные страны, к новым, ярким впечатлениям. Да, так было тогда, а теперь, вспоминая свою жизнь, я думаю, что у меня не было времени счастливее детских лет в тихом, милом Лориене.

Дядя-аббат заставлял меня много и серьезно заниматься. Сам он был человеком всесторонне образованным и сумел заинтересовать учением и меня. В двенадцать лет я совершенно бегло читал по-латыни и свободно понимал без словаря кодекс Юстиниана, не говоря уже о том, что Плутарх, Цицерон, Корнелий Непот, Геродот, Овидий и прочие корифеи латинской и греческой литературы были моими интимными друзьями. Вообще я, должен сознаться, был странным ребенком. Словно жил вне жизни: книги и смутные мечты, навеваемые мне океаном, составляли все мое

не был, надеясь, что однажды, составив все мое существование.

Шли дни, складываясь в недели и месяцы; уносились месяцы, складываясь в годы. Казалось, что жизнь всегда будет идти так же ровно, серо, бесцветно и никогда не сбудутся мои яркие мечты. И вдруг они осуществились, осуществились так просто, как это бывает с важнейшими поворотными пунктами.

Это было осенью 1759 года, когда мне исполнилось пятнадцать лет. Уже с утра я видел, что дядя-аббат чем-то взволнован, что-то хочет сказать мне, но не может решиться. Я заранее волновался, но старался не подавать вида, что волнуюсь. Наконец вечером дядя позвал меня к себе в кабинет и заговорил, взволнованно расхаживая крупными шагами взад и вперед по комнате:

— Гаспар, теперь ты — уже почти юноша... Представляешь ли ты себе, что такое жизнь и что она требует от нас?

Я молчал, смущенный этим неожиданным вступлением.

Тогда дядя продолжал, видимо все более волнуясь:

— Ну, да, ты не знаешь, ты не можешь ответить... В этом моя вина: я слишком долго держал тебя возле себя! Разве монах знает жизнь? И разве можно научить другого тому, чего не знаешь сам? Я честно старался вооружить тебя как можно лучше на борьбу за жизнь, но... — Он опять замолчал, продолжая расхаживать по

комнате. — Ну, словом, — продолжал он через некоторое время, — тебе нельзя долее оставаться здесь. Я стар, могу умереть каждую минуту; что же будет с тобой тогда? Ты много знаешь, ты развит и образован не по летам, но ведь жизнь требует практического применения знаний. Знать мало — надо уметь. А ты ничего не умеешь...

Я продолжал молчать, охваченный каким-то тревожным, сладким предчувствием. Жизнь... мне предстоит вступить в нее? Но, Боже мой, ведь в этом-то и была конечная цель моих смутных по своим реальным очертаниям, но ярких своими надеждами грез!

Дядя уселся в кресло и продолжал уже спокойнее:

— Говоря попросту, тебе надо избрать себе профессию. Прежде я думал, что ты пойдешь по моим стопам и станешь священником. Но, наблюдая за тобой, я убедился, что ты не годишься для пастырского призвания. Под внешней мечтательностью и кротостью в тебе таится скрытый мятеж души... Что же, и в светской жизни можно спастись, но горе тому, кто принимает пастырский обет, не будучи в силах в полной мере сдержать его. Нет, иди в жизнь, сын мой, иди в жизнь!

Но ведь я ничего лучшего и не желал тогда!

— Теперь, — продолжал дядя, — я должен познакомить тебя с твоими семейными обстоятельствами. До сих пор ты думал, что у тебя нет других родственников, кроме меня. И правда, с

отцовской стороны их у тебя нет, но зато остались родственники со стороны матери. Должен сказать, что твоя мать происходила из родовитой буржуазии: она — урожденная Капрэ. Отец твоей матери был против ее брака с мелким дворянином, но, подчиняясь голосу страсти, она тайком бежала и обвенчалась с твоим отцом.

Я не хочу осуждать твоих родителей — для этого я слишком любил их, да и они сами были слишком хорошими людьми. Но по их судьбе видно, что гневящий отца гневит Бога: печальная участь твоих родителей тебе известна! Так или иначе, но отец твоей матери не простил ее брака и вычеркнул ее из своей жизни. Года два тому назад он умер, оставив все свое состояние и нотариальную контору сыну Пьеру, твоему родному дяде. Я написал Пьеру Капрэ о тебе и вчера получил от него ответ. Дядя согласен взять тебя к себе на службу, но не на правах родственника, а как постороннего: он хочет сначала убедиться, достоин ли ты его забот. Имей в виду, что твой дядя бездетен... Ну, да это — дело будущего. А сейчас важно только то, что тебе надо отправиться к дяде в Париж!

В Париж! У меня сердце остановилось от восторга! В Париж, где кипит истинная жизнь!

— В Париж? — повторил я. — Но когда же?

— Не стоит терять времени, — ответил дядя-аббат. — Годы не ждут, ты и так ты засиделся. Омнибус отходит

завтра в три часа дня, вот и отправляйся. А теперь иди к себе, сын мой. Завтра утром мы с тобой еще поговорим об этом, а теперь дай мне помолиться и подумать.

Почти не помня себя от радости, я вышел из кабинета, выбрался во двор и стал обходить церковные постройки, садик, тихую обсаженную деревьями улицу. Я прощался с милыми местами, но во мне не было скорби и сожаления: моя душа ликовала, пела, носилась в сладостном вихре упоения. И только тогда, когда я незаметно очутился около старой серенькой церковки, что-то подхватило меня, я упал на колени и стал горячо молиться, чтобы Господь благословил меня на новый путь...

Должно быть, я все-таки плохо молился тогда, так как Господу не угодно было принять мои молитвы!

III

Не буду много говорить о моем парижском дяде и о том, как он принял меня. Ведь ему пришлось играть слишком маленькую роль в моей жизни, а мне еще надо так много рассказать вам! Поэтому скажу просто, что дядя по отношению ко мне сразу взял строго официальный тон. Он принял меня к себе на службу, четко определив мои обязанности и обусловив мое вознаграждение: столько-то в первые два года, столько-

то на третий и т. д. Вне этого он ничего не хотел знать. Даже жить я должен был отдельно, хотя у господина Капрэ нашлось бы в доме достаточно места даже и для пяти родных племянников.

И началась моя парижская жизнь. С утра до вечера я торчал в конторе, занимался актами и законами, законами и актами, а по окончании занятий шел обедать в дешевенький кабачок, и если была хорошая погода — гулял немного; а потом отправлялся к себе в комнатку спать. И в праздничные дни моя жизнь была тихой и скромной: единственным моим развлечением были прогулки за город. Достаточно сказать, что я даже не проживал скудных грошей, полагавшихся мне в виде жалованья.

Так прошли два года, и мне стукнуло семнадцать лет. Я был еще совершенно чист, скромен, застенчив, словно девушка. Несмотря на соблазны одинокой жизни, несмотря на заигрывания и авансы соседок-гризеток, я еще не знал женщин. Быть может, удержись я в этой чистоте, и не случилось бы со мной того, что испортило мне в последствии всю жизнь. Но случаю угодно было пробудить во мне мужчину, — и, потеряв свою чистоту, я стал уже более чувствителен к женскому влиянию. Вот о своем первом падении я и хочу сначала рассказать вам.

Не помню уже, где и как мне пришлось однажды слышать старое еврейское предание. Языческий царь призвал к себе троих еврейских праведников и приказал

им совершить какой-нибудь из трех грехов по их выбору: согрешить с язычницами — рабынями короля, напиться пьяными или вкусить нечистого, тrefного мяса. Праведники рассудили, что из всех трех грехов самым невинным будет опьянение, и выпили добрую амфору крепкого вина. Но опьянев, они потеряли меру добра и зла и уже без всякого принуждения принялись есть нечистое мясо и грешить с рабынями. Таким образом, говорит талмудистское предание, вино — самое худшее из зол, потому что оно заключает в себе все остальные.

Вот и я своим падением был обязан вину. Однажды я расхворался, и мои соседи — две модистки, Роза и Клара, мелкая актриса Сесиль, студент Пьер и художник Анри — так мило отнеслись ко мне, так заботливо ухаживали за мной, что я решил по своем выздоровлении отблагодарить их маленьким пиршеством в соседнем кабачке. А тут еще подошло окончание срока моего ученья в конторе у дяди и поступление в шпат, что было сопряжено со значительным увеличением жалованья. Таким образом предлог для пирушки со всех сторон казался как нельзя более подходящим.

Все предвещало удачу нашей пирушке. Мои приятели постоянно бывали веселы и готовы были хохотать даже тогда, когда им нечего было есть; поэтому можно представить себе их настроение в виду предстоящего удовольствия. Я же с утра был в

восторженном состоянии. Еще бы! Дядя поздравил меня с окончанием периода ученья и в первый раз пригласил к себе обедать. За обедом он выразил мне удовольствие по поводу моего старания, скромности и способностей, высказал надежду, что мое будущее обеспечено, и подарил немного денег. Опыаненный радостью и стаканчиком старого вина, который пришлось выпить за обедом, я радостно полетел домой к своим друзьям.

Ужин удался на славу. Молодые люди шалили, словно дети, и я сам, обычно застенчивый и скромный, не отставал от них. С каждой новой бутылкой вина настроение у меня все повышалось, манеры становились все развязнее и... в голове у меня все сильнее туманилось и кружилось. Сознание происходящего шло какими-то скачками, так все и запечатлелось у меня в памяти: отдельные сценки представляются мне очень ясно, но, что было между ними, я совершенно не помню теперь, как не помнил и в дни, следовавшие непосредственно за пирушкой.

Три сцены представляются мне особенно ярко и рельефно. Роза сидит на коленях у Анри и страстно обнимает его, Клара и Пьер возятся в углу на диване, словно котята, щекочут друг друга, хохочут, пищат, а я и Сесиль сидим близко-близко друг от друга, ее нога чуть-чуть касается моей, ее взгляд тонет в моих расширенных зрачках, и от этого прикосновенья, от этого томного, жаждающего глаза, обволакивающего взгляда по телу и

жаждущего греза, обволакивающего взгляда по телу у меня пробегают колющие искорки. Воспоминания бурным ураганом крутятся в мозгу. Вспоминаются мирная жизнь в тихом Лориене, беспокойные грезы, навеваемые прибоем волн, спокойная жизнь в Париже, столь далекая от прежних мечтаний и надежд... И мозг острой молнией пронзает безумно-сладостная мысль: в этом взгляде, в этом прикосновении все оправдание, разрешение, осуществление детских грез... А Сесиль пригибается совсем близко к моему лицу и что-то шепчет Что?

Волны тумана сгущаются и заслоняют дальнейшее.

Потом они снова разрываются. Розы и Анри уже нет, Клара и Пьер в судорожном объятии сплелись и замерли в уголке дивана. Тускло горят свечи, освещая залитый вином стол. Я и Сесиль стоим совсем близко от двери. Сесиль нежно тянет меня за руку и шепчет:

– Пусть их себе! Что нам до них? Идем же, мальчик мой, идем, я так люблю тебя!

Жгучая струя хлынула в мой мозг и пеленой красного тумана снова поглотила дальнейшее. И в третий раз разрывается туман, чтобы выявить передо мной картину, которая заставляет низко-низко опускаться мою седую голову.

Мы одни в комнате Сесиль. Воздух душен и пропитан странным ароматом. Что это – запах ли духов, или благоухание чего-то мне неизвестного? Еще сильнее

кружится голова... Сесиль медленно протягивает руки, обвивает меня ими, привлекает к себе, не отрывая от меня взгляда расширенных глаз, и мы сливаемся в бесконечном, страстном поцелуе...

Ночь любви! Сколько очарования в этих двух словах! Но это очарование было бы еще больше, еще победнее, если бы за ночью любви, как и за всякой другой, не следовало утро!

И оно наступило, мое утро.

Маленькая грязная комната. Платье и белье, беспорядочно разбросанные, как попало. Не очень молодая, сильно пожившая женщина с увядшими формами и желтым помятым лицом. И сам я, какой-то запачканный, опозоренный, еле сдерживающий горькие рыдания, ошипанный птенчик.

Много дурных минут переживал я в жизни, но не помню, чтобы какая-нибудь другая сравнилась по остроте презрения к себе с минутой этого пробуждения!

Моя связь с Сесиль на этом и закончилась — тому была целая совокупность причин, из которых каждой в отдельности было уже совершенно достаточно. Сесиль жила любовью, и театр являлся для нее только своего рода бульваром, как говорят теперь, в XIX веке. Как женщина не первой молодости (ей было около тридцати, а ведь для девушки, начавшей жизнь с четырнадцати лет, это — почтенный возраст), она могла забыться на минуту, отдаться капризу, но не подчинить

последнему всю свою жизнь. А что был я для нее? На роль постоянного друга сердца, которого удаляют, когда является «хлебный» клиент, я не годился; содержать Сесиль я не мог. Она сорвала с меня цвет моей чистоты и удовольствовалась этим.

Да и сам я был готов на что угодно, только не на продолжение нашей связи: с этой ночью для меня было связано представление о таком непреодолимом омерзении, какого я никогда потом не испытывал.

В первые минуты после своего падения я готов был убить себя с отчаяния; но потом это ощущение спланилось, и время от времени я с легким сердцем шел искать чувственных удовольствий у доступных женщин. В том-то и был весь ужас первого падения: оно пробудило во мне зверя-мужчину, уже не свободного от реальных грез и желаний.

Хотя связь с Сесиль распалась сама собой, но мне была невыносима мысль жить близко от нее, под одной кровлей. Я переехал в комнату на улице Фоссэ-Сэн-Жермен, которую теперь называют улицей д'Ансьен-Комеди. Ввиду того, что в то время на этой улице помещался старейший французский театр «Комеди Франсэз», большинство домов там разбивалось на комнаты, а не на квартиры. И я зажил среди самой пестрой обстановки, среди номадов искусства — комедиантствующей братии Парижа. Сесиль, игравшая в «Комеди Франсэз» изредка навещала меня, но чисто по-

«комеди Франсез», нередко навещала меня, но это по дружески, и ничто в ее обращении не давало и тени намека на наш прошлый эпизод. Случалось, что она занимала у меня деньги, когда дела шли плохо; бывало, она заходила за мной, чтобы дать мне возможность даром посмотреть представление. Вообще редко даже мужчины так дружат между собой, как дружили я и Сесиль. Но как чисты ни были теперь наши отношения, а нечистое прошлое нашей дружбы сделало свое дело. Я уже был не юношей, а мужчиной, которому вскоре пришлось поплатиться за свое пробуждение.

IV

Однажды под вечер, в праздник, я вышел из дома купить себе чего-нибудь на ужин. Стояла такая дивная погода, что мне жалко было сразу же возвращаться, и я решил немного прогуляться. По дороге я встретил кого-то из приятелей, мы гуляли довольно долго, а потом зашли поужинать в кабачок. Была уже ночь, когда я возвращался на улицу Фоссэ, помахивая пакетиком с напрасно купленными ветчиной и хлебом. Я был в отличнейшем настроении и весело насвистывал залихватскую уличную песенку. Вдруг она сразу замерла на моих устах: подойдя к двери, я вспомнил, что оставил дома ключ от коридора!

В доме, где я жил, оба верхних этажа, сдававшихся

под комнаты, имели отдельный вход, при котором никакого консьержа не полагалось: дверь в коридор запиралась около одиннадцати часов вечера, и запоздавшие жильцы отпирали их своим ключом. Но ведь я, выходя из дома, не предполагал, что загуляю до такого позднего часа, а потому и не взял с собой ключа. Как же мне быть теперь и как попасть к себе?

Я присел на скамейку и стал раздумывать, меланхолически любясь зеленоватыми бликами, щедро рассыпанными по фасаду противоположных домов полной луной. Да, ночь стояла дивная, и улица казалась очень красивой в мистических лучах Селены. Тем не менее любоваться этими красотами до утра мне вовсе не улыбалось.

И вдруг я вспомнил, что в наш коридор имеется еще другой вход с лестницы, где расположены двери дешевеньких квартир, заполнявших нижние этажи. Правда, чтобы пробраться к этому ходу, надо было сначала проникнуть через ворота, которые тоже запирались с наступлением ночи, но перемахнуть через забор было не так уж трудно для моих семнадцати лет. Не раздумывая далее, я решил осуществить свою мысль.

Через забор я перебрался без всяких затруднений и оживленно зашагал по лабиринту грязного двора. Вот я и у лестницы! Только бы не попасть в чужое помещение и через несколько минут я буду у цели!

По грязной, скользкой лестнице приходилось

взбираться с осторожностью — при малейшей поспешности нога могла подвернуться, а падение в этой темноте обещало мало хорошего. Тем не менее я поднимался довольно быстро, тщательно отсчитывая этажи. Наконец я очутился на довольно широкой площадке, от которой боковая лестница в несколько кривых ступеней вела к заднему выходу комнатного коридора. Из довольно большого разбитого окна площадки широким потоком лился мягкий лунный свет, позволяя ориентироваться с большей уверенностью. Ура! Я не ошибся: еще несколько шагов — и я буду дома!

Я уже занес ногу, чтобы преодолеть последние три ступеньки, отделявшие меня от коридора, как вдруг тихий плач, послышавшийся откуда-то со стороны, заставил меня остановиться и прислушаться. Да, кто-то тихо всхлипывал совсем близко от меня. Но где? Как раз в тот момент, когда я стал осматриваться по сторонам, плач прекратился. Пожав плечами, я снова занес ногу, но в этот момент опять послышалось жалобное всхлипыванье. Теперь я ясно расслышал, что плач раздавался из дверцы направо. Там был небольшой чуланчик, и в этом-то чуланчике плакал неизвестный ребенок.

Дети от малых лет и по сию пору остаются моей слабостью. Как бы дурен, капризен, зол ни был ребенок, я никогда не мог понять, как же можно заставить плакать маленького человечка? Вель он еще наплачется в жизни!

Словом, поняв, что это плачет ребенок, я сейчас же направился к чуланчику и открыл дверь, тотчас впустив поток лунных лучей. В первый момент мне показалось, что в чуланчике никого нет, но, приглядевшись, я заметил в углу какую-то скорчившуюся фигурку, притаившуюся и со злобой испуганного зверька глядевшую на меня.

Я сделал несколько шагов вперед. Фигурка еще глубже забилась в угол, и сдавленный голос угрожающе прошипел: «Только подойди!.. Только тронь!.. Я-те глаза выцарапаю!» – и дикое существо протянуло вперед руки, растопырив и скрючив худые, бледные пальцы.

– Полно! – спокойно и ласково сказал я, – разве я хочу тебе зла, девочка? Просто я услышал твой плач и подумал, не могу ли я чем-нибудь помочь твоему горю. Ну, расскажи же мне, кто ты такая и отчего ты плачешь?

Ласка моих слов сделала свое дело. Девочка закрыла руками лицо и сквозь рыдания сказала:

– Ах, я так боюсь, так боюсь... Что-то скрипит, что-то стонет... И крысы бегают! Я заснула немножко, а они принялись возиться и скакать через меня... И есть-то мне хочется, просто моченьки нет, просто все нутро свело...

– Да откуда ты? как ты сюда попала? – воскликнул я, не зная, что и думать относительно странного положения этого ребенка.

— Я живу внизу вместе с проклятой, — мрачно ответила девочка, — она хотела избить меня, но я не далась и убежала. А теперь она у Фаншюн и раньше утра не придет. Вот я и забралась сюда... Я уже было обрадовалась, когда услышала ваши шаги: думала — проклятая идет; ведь теперь-то мне бояться ее нечего: у Фаншюн она выпьет, а, выпивши, становится добренькой-предобренькой!

— Кто это «проклятая»? — улыбаясь спросил я. — Наверное, твоя хозяйка?

— Нет, это — моя мать, — мрачно ответила девочка.

— Деточка! — в ужасе вскричал я, — да понимаешь ли ты, что ты говоришь? Ведь смертный грех называть так мать!

Дикарка моментально пришла в бешенство.

— Убирайся! — закричала она, топая ногами и подымая сжатые кулачонки. — Тоже, подумаешь, какой поп нашелся! Мне и дома-то тошно от проповедей, а тут еще всякий проходимец суется... От наставлений сыт не будешь... — Но вдруг тон ее голоса из злобного сразу стал детски-жалобным, и, поднося кулачонки к заплаканным глазам, она продолжала всхлипывая: — А мне так есть хочется, так хочется!..

— Ну, вот что, деточка, — сказал я, — здесь тебе оставаться ни в коем случае нельзя. Пойдем со мной, я живу тут наверху, в комнате; у меня найдется что-нибудь съедобное, ты поешь, отдохнешь, а там мы увидим, что с

тобой дальше делать.

Ее глаза заблестели голодным, жадным блеском.

— Поесть! — в каком-то мечтательном упоении протянула она. — Как это хорошо, поесть!.. Но ты не обидишь меня?

— Разве ты не видишь, что я хочу тебе только добра? — тоном мягкого упрека ответил я.

— Хорошо, я вам верю, — надменным, почти снисходительным голосом заявила девочка, а затем, подойдя ко мне и вложив свою ручонку в мою руку, повелительно сказала: — Пойдем скорее, я так хочу есть!

Через несколько минут мы уже были у дверей моей комнаты. Ключ от нее был при мне, я поспешно отпер и сказал моей спутнице:

— погоди минутку, я сейчас зажгу огонь.

Мне очень хотелось поскорее накормить несчастного ребенка, но зажечь лампу было не таким-то простым делом. Говорят, будто какой-то немец изобрел спички, ими стоит только чиркнуть, чтобы огонь загорелся. Если это так, то для тех, кто будет читать эту правдивую повесть, добывание огня станет легким делом. Мне же пришлось сначала высечь искру из стального огнива, заставить трут затлеться от этой искры, потом взять спичку (кусочек дерева, один конец которого обмокнут в серу), зажечь от трута серу, подождать, пока она прогорит, воспламенив дерево, и уже только затем я мог приступить к зажиганию самой

лампы.

Пока я возился с огнем, девочка продолжала стоять у порога. Теперь при свете лампы я уже мог разглядеть ее. На вид ей было лет тринадцать-четырнадцать, она была довольно высока и очень стройна, но казалась истомленной и изнуренной до последней степени – так худы были ее руки и ноги, выглядывавшие из кучи покрывавших ее невообразимых лохмотьев. Ее лицо, бледное, покрытое ссадинами и синяками, уже тогда обещало стать очень красивым. Особенно хороши были густые золотисто-русые, прихотливо вьющиеся волосы и нежные голубые глаза, поражавшие контрастом между кротостью обычного выражения и дикими огоньками, по временам мелькавшими в них и заставлявшими темнеть их безмятежную лазурь. Только в складке рта было что-то тревожное, отталкивающее: в невинности пухленьких губок чувствовалась жадность безжалостного, хищного зверя.

– Ну же, иди сюда, милая! – ласково сказал я. – Я сейчас приготовлю тебе поужинать!

Но девочка продолжала нерешительно стоять на пороге. Ее глаза, любопытно оглядывавшие убогую обстановку комнаты, теперь упрямо и недоверчиво потупились.

– Да иди же! Ну чего же ты боишься? – повторил я.

Девочка подняла на меня взор, и меня поразила

переменившаяся ее морщина на лбу, когда она увидела меня.

перемена, сказавшаяся во всем ее виде: передо мной была уже не девочка, а опытная, знающая женщина.

— Вот что, — несколько неуверенно начала она, — уговор дороже денег... Я, пожалуй, пойду, только вы уж меня не троньте...

— Да неужели ты не видишь, что я хочу тебе только добра? — удивленно воскликнул я, не понимая истинного значения ее опасений.

На ее губах скользнула бледная, циничная улыбка.

— Знаем мы это добро! — иронически кинула она. — Вот лавочник Соро тоже все сманивает меня к себе. «Я, — говорит, — вам, барышня, желаю одного добра»... Но только пока еще этого не будет, и если вы рассчитываете купить меня за кусок хлеба с мясом, то...

— Замолчи! — крикнул я, с отчаянием хватаясь за голову и чувствуя, что рыдания ужаса подступают у меня к горлу. — Неужели люди были так злы к тебе, что ты уже не веришь в бескорыстное добро? Да ведь ты — ребенок, и говорить о таких ужасах...

Она не дала мне кончить. Она сразу преобразилась, и передо мной снова была маленькая девочка-дичок. Улыбаясь, она подбежала ко мне и с кошачьей ласковостью сказала:

— Ну, ну, frerette^[1], не сердись, а лучше дай мне поскорее поесть. Я так голодна... Я не виновата, если мужчины по большей части все такие скверные — мало ли я натерпелась от их приставаний. Ведь я

хорошенькая, а «проклятая» права, когда говорит, что в красоте и счастье, и несчастье.

Пока я разворачивал ветчину и хлеб, доставал кусочек масла, огрызок козьего сыра и молоко, моя невольная гостя, подсев к столу, доверчиво болтала с дьявольской смесью детской наивности и испорченности парижской женщины низших слоев:

— В сущности говоря, если бы ты даже и стал моим дружкой, то ничего особенно плохого тут еще не вышло бы. Все равно, не теперь, так через год... И будь я богатой, я и думать не стала бы. Но мне надо обязательно сохранить себя: ведь я готовлюсь стать актрисой.

Я резко обернулся к ней и сказал:

— Как тебя зовут?

— Адель, — ответила она.

— Ну, так вот, перестань болтать вздор, Адель, и принимайся за еду!

Девочка не заставила себя просить и с жадностью накинулась на скудный ужин, разрывая ветчину руками и глотая мясо и хлеб целыми кусками, не жуя. Видно было, что она не только проголодалась, но и наголодалась, что наесться досыта было ее давнишней, недостижимой мечтой.

Я подсел к столу, смотрел, как она насыщается, и с горечью думал обо всем, что мне пришлось услышать от нее. В первый раз мне пришлось столкнуться лицом к

лицу с истинным, неприглядным развратом большого города. Эта девочка пока еще чиста, но она уже знакома с грехом, мысленно уже извела его пучины и ждет только случая, чтобы с возможной выгодой вступить на торную дорожку срама и позора, в которых «не видит ничего особенного»! О, этот проклятый город! Каким страшным ядом пропитывают его безжалостные паучьи лапы детский мозг и невинную душу ребенка! Нищета! Ты – не порок, о, нет!., но в большом городе ты таишь в себе все пороки сразу!

Утолив первый голод, Адель с блаженным видом потянулась к бутылке.

– Гм... молоку! – критически прищурившись протянула она. – Конечно, иногда и это недурно, но, может быть, у тебя найдется глоток вина?

У меня было легкое красное вино: не знаю, как теперь, но в те времена вино стоило дешевле хлеба и составляло необходимую принадлежность каждого стола. Но как ни легко было это вино, мне казалось диким и непривычным, чтобы у ребенка могла быть потребность в нем. Однако я подумал, что ночь была довольно свежа, Адель, наверное, промерзла, так что выпить глоток вина ей и на самом деле не худо. Я достал с окна бутылку и налил Адели четверть стакана.

– Спасибо! – сказала она, одним духом выпивая вино, затем, не спрашивая моего разрешения, налила себе еще полстакана и счастливо вздохнула и его тоже

себе еще целый стакан и залпом выпила и его тоже. — Уф! — сказала она затем, — вот теперь можно и продолжать! — и она продолжала есть, пока не подобрала все до крошки.

Тогда меня даже удивило, что Адели и в голову не пришло подумать, не хочу ли и я поест. Но впоследствии я к этому привык... Впрочем, в данный момент меня более всего поразила та легкость, с которой девочка пила вино.

— Однако! — с шутливым укором сказал я. — Разве тебе дают дома вино?

— Дома? — удивленно переспросила Адель. — Мяса у нас почти не бывает — это правда, ну, а в вине недостатка нет!

Уписывая остатки ужина, Адель рассказала мне о себе. Ее мать, Роза Гюс, была прежде мелкой актрисой и вместе с труппой изъездила всю Европу, побывав даже в далекой России. Там-то Роза и почувствовала себя матерью, но, кто был отцом ребенка, этого она наверняка сказать не могла.

— Да и немудрено, — со злой усмешкой пояснила Адель. — Ведь «проклятая» с кем только не путалась! Она и теперь готова всякому на шею броситься. Только дудки, прошло ее время — кому нужна такая гнилая пьяница!

Если с достоверностью Роза и не могла назвать отцом Адели определенное лицо, то больше всего

пансов на эту честь было у русского графа, очень недавнего происхождения^[2], а потому – заносчивого и гордого. Роза обратилась к графу с требованием обеспечить ребенка, он же вместо этого приказал выслать актрису из пределов России. Гюс-мать была на склоне молодости, когда с ней случился этот «трех». Повлияло ли это обстоятельство, или виной были крушение радужных надежд и суровая высылка, только трудные роды унесли с собой последние остатки былой красоты, и, оправившись, Роза Гюс очутилась лицом к лицу с самой неприглядной бедностью. Она стала попивать, и это заставило ее опуститься еще ниже. Ни один даже самый убогий театрик не желал теперь принять ее к себе на службу, и в последние годы старуха жила до ужаса бедно, так как источник ее доходов был слаб и шаток; она лишь вертелась за кулисами «Комеди Франсэз», оказывала мелкие услуги молодым актрисам, служила посредницей между ними и поклонниками, передавала записочки от молодых и старых щеголей, приходила на помощь в затруднительных случаях – словом, не гнушалась никакой работой, лишь бы эта работа не требовала от нее физического труда. Но эта сомнительная работа оплачивалась очень скудно, да и привычка к рюмочке делала свое дело, так что Адель постоянно голодала. Правда, выпадали счастливые дни. Вот, например, завтра старуха будет добренькой, потому что сегодня «налижется» и получит от Фаншюн. актрисы

из «Комеди Франсэз», хорошо «на чай»^[3]: Фаншюн устраивает ужин для коллег, и старуха должна была присмотреть за слугами. Зато в те дни, когда не на что выпить, мать зла до ужаса и жестоко дерется по каждому пустяку. И то сказать, ей приходится очень трудно. Ну зато, когда она, Адель, подрастет, их бедствия кончатся: Адель станет актрисой, но уже не такой, как дура-мать! И погоди ж ты! Все эти синяки, царапины и побои она выместит тогда на «проклятой».

Покончив с ужином и выпив последние капли вина, Адель потянулась с видом довольной кошечки и сказала, потирая кулаками сонные глаза:

– А теперь спать, спать! Но как бы нам устроиться?

– Если ты стесняешься меня, – улыбаясь сказал я, – то это ни к чему: как ты видишь, у моей кровати имеются занавески, и, если я спущу их, так мы друг друга не увидим.

– Стесняться! – пренебрежительно кинула она. – Вот плуности! Я думаю вовсе не о том! Как ты меня устроишь?

– А вот соберу я все свое платье, покрою им помягче этот деревянный диванчик, да и спи себе с Богом!

– О, – деловито возразила Адель, – мне, право, совестно, что ты будешь так много хлопотать из-за меня! Нет, я придумала гораздо проще: я лягу на твою кровать,

а ты устройся здесь. Тогда тебе не придется ничего делать для меня!

Не успел я ответить что-либо на эту хитрую наивность, как Адель обвила мою шею руками, поцеловала меня в губы и, кинув мне: «Спасибо и покойной ночи, братец!», очутилась возле кровати. Через несколько секунд занавески последней опустились, послышалось шуршанье сбрасываемого платья, затем Адель принялась что-то говорить, ее голос все слабел, быстро перешел в неясное бормотанье, и через минуты две-три все замолкло.

Что касается меня, то я с комическим жестом беспомощности принялся, как умел, устраиваться на диване. Для Адели он был бы как раз по величине, но для меня слишком мал. Лежать было страшно неудобно, приходилось изображать какой-то крючок, и в эту ночь я почти не спал. Ворочаясь с боку на бок, я непрестанно думал о несчастной девочке, которую случай загнал под мою кровлю. Мне хотелось видеть в этом какой-то указующий перст: ребенок с хорошими инстинктами, с богатой натурой (по крайней мере я уверил себя, что это так), гибнет, словно растеньице, лишенное заботы и внимания. У меня много свободного времени, которое пропадает зря, в праздности и чревоутопии. Почему не посвятить этого времени несчастному ребенку, почему не постараться развить ум Адели и просветить ее душу, не ведающую Бога, не постигающую границы между

добром и злом?

Мне вспомнился дядя-аббат; он, как живой, вырос передо мной со своим бледным лицом, умными глазами и доброй, мягкой улыбкой. Мне показалось, будто я вижу, что он благословляет меня на уловление этой первобытной души для Бога, и я еще тверже проникся принятым решением.

Если бы я не был так молод тогда, я понял бы, что цветок, выросший на могиле, с момента зарождения отравлен соками разложения и что не во власти слабого юноши изменить его ядовитые свойства. Я понял бы, что такой цветок нельзя спасти, самому же легко отравиться им.

Очень скоро эта роковая истина стала ясна мне. Но тогда было уже слишком поздно.

V

Утром я вскочил с дивана по крайней мере на полчаса раньше, чем обыкновенно: перед уходом в контору надо было напоить мою случайную гостью горячим молоком с хлебом.

Я побежал в лавочку.

Она была за углом. Проходя мимо ворот, я увидел там кучку народа, обступившего небольшую, полную женщину с квадратным оплывшим лицом, синевато-багровые жилки которого говорили о ее пристрастии к

барские жилки которого говорили о ее пристрастии к спиртным напиткам. Она взволнованно рассказывала что-то, сильно жестикулируя руками. До меня донесся обрывок ее фразы:

— А ведь подумать только, что я лишь для нее и жила! И где мне искать ее? Париж — не такой город, чтобы добровольно отдавать свои жертвы!

Услыхав, что слушатели называли женщину «мадам Розой», я понял, что передо мною мать Адели, Роза Гюс. Я торопливо подошел к ней и спросил:

— Если не ошибаюсь, вы — госпожа Гюс?

— Я самая и есть, — с заискивающей улыбкой, моментально сменившей выражение театрального пафоса, ответила мне мамаша Гюс. — А чем могу служить вам, мой молодой барчонок?

— Я слышал, что вы беспокоитесь о пропавшей дочери. Так не волнуйтесь: Адель жива и здорова, она у меня.

Я не ожидал, что мои слова произведут такой громоподобный эффект. В первый момент Роза только раскрыла рот и выпучила глаза. Но затем сейчас же ее лицо покрылось густым, словно апоплексическим, румянцем бешенства и, ухватившись цепкими пальцами за мой рукав, мегера отчаянно завопила:

— Полицию сюда, полицию! Господа, будьте свидетелями: этот негодяй завлек мою дочь... Полицию! Полицию!.. Да разве я для тебя берегла и холила ее?

— Полно вам вздор-то молоть! — сурово оборвал старуху коридорный нашего этажа. — От месье Гаспара еще никто ничего худого не видал, и если девчонка у него, так вам надо благодарить за это Бога!

— Как вам не стыдно! — крикнул и я, со злостью вырывая свой рукав из цепких пальцев мегеры. — Хороша мать, у которой только одни гадости на уме! Нечего сказать, научите вы добру свое дитя! Вы лучше не выгоняли бы ее на улицу, чем набрасываться на добрых людей, которые пожалели обиженную крошку. Ну что же, зовите полицию, я по крайней мере спрошу, имеет ли право мать выгонять девочку-подростка на всю ночь из дома, толкая ее прямо в лапы разврата! — и в бешенстве я стал осыпать старуху бранью, угрозами и проклятиями.

Не обращая внимания на мою брань, она радостно схватила меня за руки и затараторила:

— Так с бедной крошкой ничего не случилось? О, простите меня, дорогой месье, не судите строго несчастную мать, на которую и без того сыплются все кары земные и небесные! Мало ли чего не скажешь с отчаяния! Но вы, такой молодой, образованный господин, не можете сердиться на нищую старуху, у которой на свете нет ничего, кроме ее дорогой крошки! Где же она? О, дайте настрадавшейся матери поскорее прижать к сердцу свое дитя, которое она уже считала потерянным!

В голосе, манерах и позе Розы было столько театральной напыщенности, что мне стало невыразимо противно. Брезгливо вырвав руки, я утрюмо сказал ей:

— Адель у меня в комнате. Коридорный Жан проводит вас. Идите за ней!

Затем я повернулся и ушел в лавочку.

Когда я вернулся с хлебом и горячим молоком, Адель была еще у меня. Подходя к двери, я услышал обрывки ее разговора с матерью. Старуха говорила лстыиво и заискивающе, Адель отвечала ей сухими, злобными репликами.

Не успел я поставить молоко и хлеб на стол, как Адель с радостным криком бросилась ко мне на шею и крепко поцеловала меня прямо в губы. Это был поцелуй младшей сестренки, поцелуй ребенка, и все-таки эта ласка заставила меня вздрогнуть и слегка отстранить от себя девочку.

— Я не хотела уходить, не повидавшись с тобой, братишка! — с кошачьей ласковостью говорила мне тем временем Адель. — Я тебе так благодарна, так благодарна!

Мать сделала какое-то движение, явно собираясь присоединиться к благодарностям дочери, но я утрюмо отвернулся от нее и сказал Адели:

— Вот молоко и хлеб, Адель, ты, должно быть, голодна! Перестань болтать и кушай поскорее; мне пора в конторv!

Не заставляя себя упрашивать, Адель весело подскочила к столу, уселась на высокую табуретку и, болтая ногами, принялась уписывать молоко с хлебом. В это время Роза подошла ко мне и сказала с тронувшей меня простотой:

— Простите меня, господин Гаспар, что я наговорила вам разных гадостей! Бедность и несчастья так издергали меня, что я хожу словно сама не своя. Иной раз сама говорю что-нибудь, а внутри меня другая «я» сидит, которая слушает да удивляется. Вот иной раз бедной Адели от меня попадает, а ведь на самом деле я так горячо люблю ее.

— Меньше бы любила, да чаще кормила бы! — кинула Адель, запихивая себе в рот остатки булки: эта маленькая обжора снова ничего не оставила мне!

— Я несколько не сержусь на вас, мадам, — ответил я Розе. — Я отлично понимаю, что вы взволновались за дочь. Меня только взбесило, что вы, будучи сами виноваты, накидываетесь на человека... Ну, да дело прошлое, не будем вспоминать о том, что было: я ведь тоже у вас в долгу не остался!

— Так докажите на деле, что вы не сердитесь! — с обрадованным видом подхватила старуха. — Поужинайте сегодня с нами!

— Но, мадам... — смущенно начал я.

— Ну да, вас затрудняет наша бедность, вы боитесь

обездолить нас! Но я очень прошу вас: не ооижайте нас и примите мое приглашение. Мое положение теперь значительно улучшилось, а кроме того, мне надавали от вчерашнего пира столько вкусных вещей, что мне есть чем по-настоящему принять вас. Умоляю вас, дорогой местье, не отказывайтесь!

Мне не очень-то улыбалась мысль угощаться обедками актрис и кутил, но, когда я посмотрел на Адель, в ее голубых глазах блеснула такая мольба, что я не нашел в себе сил отказаться. И я принял предложение, после чего голодный ушел в контору: по дороге можно было чего-нибудь купить и тут же съесть.

VI

Вернувшись из конторы, я спустился к назначенному часу вниз, где помещалась квартира Гюс. Я постучался – никто не ответил мне на стук; заметив, что дверь отворена, я вошел в первую комнату.

Все здесь говорило об ужасной бедности. Некрашенный деревянный стол, такие же табуретки и ободранный шкаф составляли всю ее меблировку. Но я сразу заметил, что к моему приходу готовились: стол, табуретки и пол были вымыты и выскреблены начисто, и кое-где еще виднелись пятна непросохшей воды.

В комнате никого не было, а из соседней доносились голоса. Я кашлянул, но ответа не было.

Прислушавшись, я различил голос Адели, декламировавшей:

Мрачно ехал он в думах микенским путем,
Безнадежной рукой...

— Не то, Адель, совершенно не то! — каким-то отчаянием зазвенел голос ее матери.

Я был поражен. Еще недавно я по протекции Сесиль слышал «Федру», знаменитую трагедию Расина, а любимица жуирующего Парижа Фанни Молле (в просторечии: Фаншон) произносила эти самые слова несравненно хуже и бледнее, нежели теперь это делала Адель. Чем же недовольна старая Гюс?

Ее дальнейшие объяснения развеяли мое недоумение.

— Ты подумай только, — сказала она, — ведь тут должна выразиться целая смесь чувств. Она и злобствует, и раскаивается, она ненавидит Ипполита, но в то же время и любит его. Она принижена его отпором, но не может забыть, что она все-таки царица. В каждом слове двойная игра чувств и страстей... Ну, повтори это еще раз, милочка!

Адель снова начала:

– «Мрачно ехал»...

– Да как ты не понимаешь, – со страданием перебила ее мать, – что все дело не в том, что он «ехал», а что он ехал «мрачно»? А ты ставишь ударение...

– Мне это надоело, мать, я устала! – капризно заявила Адель.

– Что же делать, дочка? – ответила мать. – Какие бы у тебя ни были способности к сцене, а без упражнений ты ничего не добьешься! Для того, чтобы сделаться истинной актрисой, мало одного таланта!

– Ну, вот еще! – послышался капризный голосок Адели. – У Фаншюн нет ровно никакого таланта, а между тем она пользуется огромным успехом! Я достаточно красива, чтобы сделать карьеру не хуже чем у нее...

– Голубушка! – перебила ее мать. – Да ведь если Фаншюн сегодня подурнеет, так ее завтра же прогонят со сцены! Да и цена женщине совсем другая, если она и красива, и талантлива!

Не могу передать вам, какой острой болью отозвались в моем сердце эти разговоры. Все протестовало во мне: да ведь Адели нет еще и пятнадцати лет! Боже мой, Боже мой, что же будет с ней, когда она вступит на дорогу созревшей женщины!

Я не мог слушать долее и осторожно, на цыпочках, выбрался за дверь. Неужели нельзя спасти Адель?

«О, нет, можно, – кричала во мне самоуверенность юности, – надо только не складывать рук, не отступать

перед препятствиями».

Постояв несколько минут за дверью, я снова вошел в комнату, но на этот раз громко стукнул дверью, чтобы обратить внимание хозяек на свой приход.

— Ба, да это — братишка! — весело крикнула Адель, высовывая голову на мой стук. — Иди, иди, голубчик, мы сейчас! — и она вместе с матерью вышла из комнаты и сейчас же принялась хлопотать над убранством стола к ужину.

Как объяснила мне старуха Гюс, вчера у Фаншюн почему-то собралось народа вдвое меньше, чем ждали, а потому много кушаний остались не только нетронутыми, но даже неподанными к столу. Но это еще что!., самое важное то, что благодаря Фаншюн ей, Розе Гюс, удалось получить место смотрительницы дамских уборных, а это уже дает ей хотя и не очень большой, но верный заработок. Говоря все это, старуха расставляла на столе, покрытом рваной, но чистой скатертью, жареную птицу, паштеты и прочие деликатесы, в чем ей оживленно помогала Адель.

Я сидел в уголке, подавал короткие реплики на слова старухи и любовался редкой грацией всех движений девочки. Каждый шаг и жест, манера братья за тарелку, поворот головы, когда Адель осматривала стол, — все было полно гармонии и изящества. А подвижность ее лица, отражавшего все случайные настроения!

настроения:

И я еще собирался удержать ее от сценической карьеры! Нет, об этом нечего было и думать: Адель создана для подмостков, и не в человеческой власти удержать ее от сцены.

Вдруг лицо Адели приняло серьезное, задумчивое выражение.

— Вот что, мать, — сказала она, — почему бы тебе не поговорить с братишкой о деле Дюперье? Братишка — юрист; он к нам расположен и не продаст нас, как все эти негодяи!

— А и в самом деле! — оживилась старуха. — Месье Гаспар, не дадите ли вы нам совета, как быть в нашем деле...

— О, я очень рад служить вам, чем могу, дорогая мадам! — отозвался я.

Старуха на минутку скрылась в соседней комнате и сейчас же вернулась с листом бумаги в руках.

— Сначала расскажу вам, в чем тут дело. Есть у нас в «Комеди» артистка Клерон. Актриса она не из последних, ну, и распутница тоже не из последних. Своих дружков она меняла как перчатки. Только вдруг Сюзанна — так зовут Клерон — захандрила и разогнала всех своих обожателей. В чем дело? Оказалось, эта дуреха влюбилась, как кошка, в своего собрата по сцене, Бризара, а тот на нее и смотреть не хочет. И вот в это-то время Клерон увидел богатый суконщик Дюперье. Стал

он за ней увиваться, а она от него нос воротит. Это взбесило и раззадорило его: ведь он слышал, что Сюзанна не из неприступных. Так почему же ему такая немилость? Посоветовался он со знающими людьми, а те ему и сказали: «Обратись-ка ты к тетке Гюс. Она – большая мастерица устраивать счастье любящих сердец, а берет недорого!»

– Да как же вы решаетесь говорить все эти гадости при вашей дочери! – крикнул я с отчаянием, вскакивая с табуретки.

Увидав мое взволнованное лицо, Адель расхохоталась, как сумасшедшая. Старуха помолчала несколько секунд и сказала серьезно и ласково:

– Эх, дорогой месье Гаспар! Вы сами – еще почти мальчик, ну а я – старая женщина, которая не закрывает глаз на настоящую жизнь! Разве в том ужас, что я эти гадости не только рассказываю, но и делаю, а не в том, что без них я прожить не могу? И разве без этих гадостей Адель сможет прожить на белом свете? Нет, милый месье, чем раньше девочка будет знать все, что творится у нас, тем лучше для нее. Меня растили в полном неведении, собой я была не хуже Адели, вот моей наивностью и воспользовались. А что проку для меня от того, что я была весела и красива? Нет, милый мой, когда выходишь на улицу, надо знать, какая стоит погода. Пусть и Адель заранее знает, что она выходит на грязную, очень грязную улицу.

— Но неужели другого пути нет? — с отчаянием спросил я.

— Нет, месье Гаспар, его нет. Для Адели кроме сцены только два пути: идти в услужение или выйти замуж. Но разве можно браться за какое-либо ремесло с ее наружностью? Ведь она должна будет все равно пойти дорогой греха, только получать за это будет меньше, да рано подурнеет от забот и лишений! Нет, я уж предпочитаю сцену. Ну, а замужество... Эх, дорогой месье, да кто же возьмет замуж нищую девчонку, дочку старой Гюс? Может, и польстится какой-нибудь ремесленник или мелкий лавочник. Да ведь Адель никогда не помирится со скучной, серой, нищенской жизнью. Ведь она через месяц после свадьбы начнет изменять мужу с любым молодчиком, который подарит ей шляпку или ботинки...

— Еще бы! — отозвалась Адель, со спокойным пренебрежением пожимая плечами.

Я молчал. Да и что мог я возразить против этой ужасающей логики? Я верил в добро, верил в его победную силу, но эта вера была построена на отвлеченных умозрениях, а здесь со мной говорила сама неприкрытая житейская правда!

— Если позволите, я буду продолжать, — заговорила старуха после короткой паузы. — Дюперье обратился ко мне, обещая по-царски наградить меня, если я устрою ему Клерон. Я обещала сделать все, что могу, но в душе

ему Клерон. Я обещаю сделать все, что могу, но в душе решила, что это совсем безнадежно. Однако мне повезло. Однажды, когда я вертелась около уборных, подходит ко мне Клерон да и говорит: «Вот что, тетка Гюс, дурь у меня из головы выскочила: любовью да грошовым жалованьем с моими привычками не проживешь! Да только в то время, пока я с ума сходила, все от меня отскочили, а мне первой начинать нельзя: цену собьешь! Вот я к тебе с просьбой: устрой ты мне какого-нибудь богатого молодчика. Ты увидишь, что Клерон умеет быть благодарной!» Я сейчас же полетела к Дюперье и сказала ему, что его дело устроить могу, но за это он должен как следует отблагодарить меня. Он обещал мне выплачивать пожизненную пенсию в пятьдесят ливров^[4] в год и одновременно дать сто ливров. Но я знаю, как обманывают нашего брата, бедного человека! Поэтому я твердо заявила, что без расписки дела не устрою. Дюперье в шутку выдал мне формальную маклерскую запись. Тогда я свела парочку и от радости поставила в соборе Нотр-Дам самую толстую свечку: Бог внял слезам вдовицы! Однако моя радость была преждевременной. В первый год я получила свои деньги исправно в два срока, как и было уговорено, но на второй год Клерон, порядочно пощипав Дюперье, променяла его на ювелира Мозеса, и, когда я явилась к Дюперье, этот купец без церемонии выгнал меня. Я обратилась к адвокату, но тот отказался взять мое дело,

говоря, что запись противозаконна, а кроме того там включен – чего я не знала – такой шуточный пункт, что «если счастье купца Дюперье и артистки Клерон расстроится по вине последней, то действие сей записи уничтожается». Ко многим я ходила; один было взялся, но через несколько дней вернул мне мою бумагу: должно быть, Дюперье подкупил его. Вот эта бумага: посмотрите ее, голубчик, нельзя ли что-нибудь сделать? Ведь для меня с Аделью это – просто спасение!

Внутренне содрогаясь от всей этой грязи, я взял в руки оригинальный документ, а затем, прочитав его и подумав немного, сказал:

– Законным путем тут действительно едва ли что-нибудь сделаешь. Но возможность получить деньги все-таки есть...

– Да неужели? – воскликнула старуха. – Адель! – неожиданно засуетилась она, – у нас мало вина. Вот деньги; сбегай, голубушка! Так неужели возможность все-таки есть? – продолжала она, когда девочка направилась к двери. – Да как же мне благодарить судьбу за то, что я встретила вас? Но каким путем, вы думаете, можно это сделать?

– Прежде чем говорить о путях и способах, милая мадам, – улыбаясь заметил я, – поговорим об условиях.

– Ну да, ну конечно! – несколько недовольно подхватила Гюс. – Я знаю, что ваш брат-юрист ничего ради прекрасных глаз не делает. Да я и не отказываюсь

поблагодарить вас за труды и хлопоты, но вы уж будьте снисходительны и не пользуйтесь моим бедственным положением... И вперед на расходы я тоже ничего не могу дать! – спохватилась она.

– Вы дурно поняли меня, мадам Роза, – спокойно возразил я. – Я собираюсь устроить это дело именно «ради прекрасных глаз», потому что для себя я не ищу тут никаких выгод. Постарайтесь понять меня. Я с детства не знал семьи, и, когда я увидел вашу Адель, мне показалось, будто Бог послал мне сестренку. Да она и сама чувствует это: вы заметили, что она по собственному почину называет меня братишкой. Так вот, говоря об «условиях», я имел в виду только свою богоданную сестренку. Я устрою вам это дело, но от этого должна выиграть Адель.

– Господи, да я и так, кажется, всю душу...

– Да, да, мадам Гюс, я верю, что вы очень любите Адель, но это не мешает ей ходить в синяках от ваших побоев. Поглядите только, на что она похожа...

– Ах, месье Гаспар, да разве я бью ее! Это нужда ее бьет.

– Ну, так я хочу, чтобы нужда больше не била ее. Как вы не понимаете, что вы этим действуете против своих же собственных интересов! Ведь так недолго и изуродовать ребенка. Кроме того, я не хочу, чтобы Адель жила в такой развращающей обстановке. Вы доказали мне, что кроме снечы ей иного пути нет. Пусть будет

мне, что кроме сценки си иного пути нет. Пусть будет так. Но я хочу, чтобы она вышла на подмостки как можно более вооруженной. Я буду заниматься с ней, постараюсь развить ее. Но вы должны дать мне честное слово, что мешать мне в этом не будете. У вас теперь есть маленький заработок, от Дюперье я постараюсь взять сразу сумму за несколько лет. Вы должны устроиться поприличнее и не посылать девочку, например, в кабаки за вином...

— Но я и сама буду счастлива устроиться так, милый месье! Об этом и говорить нечего: я сама не враг своему ребенку. Только не верится мне что-то: как это вы ухитритесь вытянуть деньги у скареда Дюперье, если законно сделать это нельзя?

— Я сейчас объясню вам это. Мне известно, что Дюперье женился шесть месяцев тому назад и что жена держит его в ежовых рукавицах. Так вот, если Дюперье откажется исполнить свое обязательство, я пригрозю ему судом. Я, дескать, вызову свидетелей, которые должны будут выяснять, по чьей вине нарушено счастье Дюперье и Клерон. Конечно, если возбудить такой процесс, то суд все равно в иске откажет, но Дюперье не рискнет скандалом, который неизбежно возникает в подобном случае. Вот, пользуясь щекотливым положением купца, я и заставлю его купить у меня его маклерскую запись, а ценою будет десятилетняя пенсия вам, то есть полторы тысячи ливров.

Как раз когда я объяснял это, вернулась Адель. Мы сели за стол, и ужин прошел очень весело благодаря радостному настроению, охватившему мать и дочь при зароненной мною надежде на получение денег.

VII

Я рассчитал совершенно верно: Дюперье испугался скандала и вручил мне полторы тысячи ливров в обмен на компрометирующий его документ. С разрешения старухи Гюс и по совету дяди я пристроил эти деньги под верное обеспечение и хорошие проценты, так что Гюс могла иметь около двухсот ливров ежегодно. Должность заведующей уборными вместе со случайными доходами давала Розе тоже около двухсот ливров. Таким образом у нее было до четырехсот ливров в год, а на такую сумму в те времена можно было жить хотя и скромно, но чисто и без нужды. И было решено, что Гюс подыщут себе другую квартиру.

Совсем близко, в переулочке, нашлась хорошенькая квартирка, но она была слишком дорога для Гюс. И однажды старуха сказала мне:

– Послушайте, месье Гаспар, а почему бы вам не поселиться у нас?

От неожиданности я растерялся: во мне пробудились самые противоречивые чувства. Конечно, жить в семье, где за тобой и приберут, и присмотрят...

не быть таким одиноким, заброшенным... Но, с другой стороны, жить под одной кровлей с этими женщинами, которые так дику, так предосудительно смотрят на жизнь и вопросы морали! Мне, воспитаннику аббата Дюпре, дышать этой атмосферой греха!

А старуха продолжала:

— Мы дадим вам уловую комнату: она светлая и веселая. Вам будет хорошо у нас, не придется возиться со скверными ресторанными обедами. И возьму я с вас недорого! Зато как хорошо нам будет иметь возле себя такого честного, милого человека, на которого можно всегда положиться! И за Адель я буду рада...

Упоминание об Адели еще более увеличило мое смятение. Жить рядом с ней, вечно чувствовать на себе ее обаяние!.. Я невольно посмотрел на девушку, скользнул взглядом по ее гибкой, змеиной фигурке, по тонкому, бледному личику с алым чувственным ртом, по спутанным прядям ее золотистых кос и почувствовал, что нечто большее, чем простая братская привязанность, притягивает меня к этому созданию!

Все внутри меня запротестовало при одной мысли о возможности каких-либо иных чувств к Адели.

«Это — сумасшествие, этого не может быть! — с отчаянием думал я. — Я сам создаю себе какие-то дурацкие опасения! Но, раз они имеются, тем более должен я быть осторожен и ни в коем случае не принимать этого предложения!»

принимать этого предложения»

Видя мое колебание, Адель встала, подошла ко мне, положила мне на плечи руки и, слегка прижимаясь и заглядывая мне в глаза, сказала тоном балованного ребенка:

– Да ну же, братишка, не упрямься, право тебе будет хорошо у нас! Ну, согласен? Ведь да?

Дрожь пробежала по всему моему телу от этого прикосновения, взгляда, голоса... Я хотел решительно отказаться, но губы сами собой сказали:

– Да, согласен!

Благодаря Сесиль я познал сладость греха – теперь я был уже беззащитен против чар женского влияния.

Так случилось, что я поселился у Гюс, так я сделал первый шаг навстречу своей гибели...

ГЛАВА ВТОРАЯ

I

До сих пор я описывал историю своего знакомства с Аделаидой Гюс, основываясь на своих личных переживаниях и ощущениях. Вернее будет сказать, что я дал историю своих внутренних переживаний, которых в предыдущей главе больше, чем событий и действий. Но это было необходимо для того, чтобы читатель мог возможно яснее представить себе, что я представлял

собой как личность, так как трагизм моей судьбы не в каких-либо особых бедствиях, а в явном несоответствии моей жизни с моей нравственной позицией. Но в дальнейшем повествовании я должен отказаться от психологических деталей. Они только утомят и отвлекут внимание читателя, так как тот, кто уяснил себе из предшествующей главы мой облик, тот и без всяких патетических выкриков поймет, как должен был я бесконечно страдать, играя навязанную собственной неосторожностью унижительную роль. Поэтому ограничусь кратким обзором своих отношений к обеим Гюс и беглой характеристикой юного Гаспара Лебефа.

Теперь, на склоне своих девяноста двух лет, я могу беспристрастно судить о себе в прошлом. И вижу, что и в восемнадцать-девятнадцать лет я все еще был милым, наивным мальчиком, чувствительным, добрым и неглупым. У меня были очень привязчивая душа, страшная брезгливость ко всему неопрятному и бесчестному, но излишняя мягкость и склонность к фантазированию заставляли быстро подыскивать извинительные мотивы для действий тех лиц, к которым я был привязан. Поэтому, несмотря на первоначальную антипатию к старухе Гюс, я очень быстро примирился с ней и даже стал относиться к ней с любовью.

С одной стороны мне было хорошо у них жить, за

мною ухаживали, дооросовестно кормили, и олагодаря тому, что я не был уже таким бесприютным, как прежде, меня реже тянуло на улицу. А это дало мне возможность увеличить свои сбережения, которые я инстинктивно держал втайне от Гюс — матери и дочери. Но если физически я выигрывал от жизни у старухи, то морально не мог не пострадать. Мало-помалу я заражался тонким ядом философии нищеты, которую исповедовала старуха и которая все сводила к неизбежности падения и невозможности жизни по заветам Бога в современных условиях. Прежде я возмущался и протестовал, потом начал просто спорить, спокойно, академически; мало-помалу я уступал, сдавался и незаметно для самого себя стал примиряться с взглядами Розы на жизнь, а затем наступило время, когда я уже смог принимать участие в обсуждении того, что еще недавно способно было заставить меня рыдать от отчаяния.

Почти так же обстояли мои дела с Аделью. Иллюзии братских чувств постепенно рассеивались, и настало время, когда я без всякого удивления заметил, что люблю Адель с необузданной страстью. Но когда именно моя симпатия к девочке перешла в страсть к женщине, этого я не мог бы определить. Возможно, что страсть созревала так же незаметно, как незаметно Адель из подростка превратилась в пышную девушку-красавицу.

Адель отлично видела мою любовь и забавлялась

тем, что разжигала во мне страсть. Особенно удобными моментами для этих упражнений были наши уроки. Мне удалось настоять, чтобы Адель под моим руководством занялась расширением своих умственных горизонтов. Сначала она усиленно отвиливала от уроков, но, когда я доказал ей, что образование и умение поговорить «о том о сем» даст ей преимущество перед ее будущими подругами-актрисами, равными ей по красоте и таланту, она быстро согласилась. С писанием, арифметикой и эстетикой дело не пошло: Адель чувствовала непреодолимую ненависть к перу, таблица умножения двузначных чисел казалась ей страшнее китайской грамоты, а эстетика навевала на нее отчаянную зевоту. И до конца своих дней она так и не могла постигнуть, что хотели сказать древние, когда требовали для театральных произведений единства времени, места и действий!

Поэтому наши уроки заключались главным образом в том, что я что-нибудь читал или рассказывал Адели. Я передавал ей содержание величайших классических произведений, и если мне удавалось заинтересовать ее фабулой, то незаметно рассказ сводился к истории или географии тех краев, где разыгрывалась данная трагедия. Таким образом, мне удавалось незаметно обогащать знания Адели. Единственно, что она очень любила, это стихи: к чтению поэзии ее не надо было принуждать, и, чем сентиментальнее и чувствительнее была

стихотворная речь, тем жаднее накидывалась на нее Адель. Впоследствии мне пришлось убедиться, что это обычное явление: женщины дурной жизни и мужчины с склонностью к жестокости очень падки на сентиментальные стишки.

Вот во время этих-то уроков Адель и занималась разжиганием моей страсти. Вдруг придвинется поближе, будто ненарочно тронет ногой, положит пальцы на мою руку. Позднее, развившись в дивно сложенную девушку, Адель нередко старалась устроить так, чтобы попасться мне на глаза в самом откровенном дезабилье. Видимо, ее забавляла сложная игра чувств, отражавшаяся при этом на моем лице. Но, заигрывая со мной, она не позволяла мне ни малейшей нежности, самой допустимой вольности. И когда я бывал около Адели, то чувствовал себя в положении человека, которого с одного бока подмораживают, а с другого — поджаривают.

Так шло время. Адель незаметно хорошела, я незаметно отравлялся ядом циничного отношения к жизни. Наконец наступила пора реальных забот и тревог.

II

Ради вящего развития несомненного таланта Адели и по причинам чисто тактического свойства Роза вскоре

отказалась от занятия с дочерью и только помогала ей готовить уроки, а наставлять в премудростях драматического искусства девочку стала уже немолодая актриса Дюмонкур. Последняя обладала большим талантом и когда-то гремела, но судьба не послала ей ни красивой наружности, ни распушенности, и, когда свежесть молодости пропала, талантливую актрису стали затирать пикантные бездарности. Дюмонкур была слишком умна, чтобы открыто протестовать против этого; она добровольно отошла в тень и стала довольствоваться скудным жалованьем и редкими ролями, которые перепадали на ее долю. Эта скромность была оценена и товарищами, и начальством. Когда же Дюмонкур взяла под свою защиту одну из вновь поступивших актрис, встреченную очень враждебно остальной труппой, а вслед затем эта актриса заняла прочное место в сердце главного интенданта (или, потеперешнему, директора театра), маркиза Гонто, то новая фаворитка использовала свое влияние для улучшения положения покровительницы. Действительно, с Дюмонкур стали советоваться, ее мнение принималось в расчет при всевозможных театральных переменах. Вот поэтому-то старуха Гюс и решила просить Дюмонкур давать уроки Адели: даже и те гроши, которые могла платить Роза, были подспорьем актрисе, не имевшей побочных доходов, а театральный опыт Дюмонкур и ее влияние у дирекции значительно

облегчали Адели возможность попасть в лучшую труппу того времени.

Для того чтобы сговориться об условиях, Роза пригласила актрису на ужин. Как сейчас помню этот вечер.

Был декабрь, на улице стоял довольно сильный холод, но в парадной комнате квартиры Гюс весело трещал в камине жаркий огонь. Роза хлопотала около стола, стараясь поэффектнее расставить тарелочки с закусками, я сидел около камина, отогревая замерзшие руки, а Адель нервно расхаживала по комнате. Девушка была взволнована и на все попытки заговорить с нею отвечала резкими колкостями.

В назначенный час у входных дверей послышался стук молотка, и через несколько минут в комнату, в сопровождении выскочившей встречать ее Розы, вошла гостья. Это была женщина лет сорока пяти с открытым добрым лицом и живыми, умными черными глазами. Дюмонкур приветливо обняла Адель, ласково поздоровалась со мной и подошла к камину, чтобы погреться с холода. Поворачиваясь перед огнем, она весело болтала, жалуясь на мороз, на дороговизну жизни, на страшный рост нищеты, но все это говорила удивительно просто; вообще в ней совершенно не чувствовалась актриса.

— Уф! — сказала она наконец, отходя от огня и усаживаясь в кресло. — Вот теперь я согрелась!

— Дорогая мадам, — видимо волнуясь, сказала Роза, — как вы хотите: сначала закусим, а потом уж вы послушаете мою девочку, или, наоборот, сначала послушаете?

— Прежде чем послушать, мне надо хорошенько посмотреть на нее; может быть, и слушать-то не стоит! — с веселым смехом ответила актриса. — Ну-ка, крошка, подойди ко мне!.. Так! — продолжала она, внимательно посмотрев на Адель и окинув ее пытливым взглядом с ног до головы. — Теперь пройдишь спокойным шагом в тот угол и обратно... Отлично! Пробегись теперь!.. Отлично, подойди поближе ко мне! Вот так! Я замахнусь на тебя, а ты сделай вид, будто испугалась. Подойди ко мне, дитя мое, и поцелуй меня: даже если у тебя нет ни капельки таланта, ты будешь иметь успех: ты красива, гибка и изящна! Да, дорогая Роза, — продолжала Дюмонкур, обращаясь к старухе, — для актрисы мало быть талантливой, надо обладать красотой. Возьмите хотя бы меня: моего таланта никто не отрицал, а все же из меня ничего не вышло. Искусство ценит один из сотни, остальные же девяносто девять ценят только женщину... Да, тут уж ничего не поделаешь, крошка! И мало быть красивой с лица: бывают женщины, которые кажутся ангелом небесным, пока сидят, но стоит им сделать два шага, как ангел превращается в неуклюжего медведя. Красивая женщина должна быть изящной во всех проявлениях. Все должно быть у нее красиво.

вска проявления. Это должно быть у нас красиво. походка, бег, радость, смех, слезы, ужас, испуг. Ты — счастливица, милочка, так как обладаешь всем, о чем я только что упомянула, и если твои внутренние художественные достоинства составляют хотя бы десятую часть внешних, то я ручаюсь, что ты сделаешь блестящую карьеру! А теперь прочти мне что-нибудь, крошка!

С трудом подавляя волнение, Адель начала читать монолог из «Федры» Расина.

Я слушал, затаив дыхание. Мне казалось, что Адель читает дивно, но, к моему удивлению, актриса, видимо, осталась не очень довольной.

— Недурно, — сказала она, когда Адель кончила и с тревогой уставилась на нее. — Но ты, должно быть, долго учила этот монолог? Ты, что ли, с ней проходила его? — обратилась она к старухе Гюс.

— Кому же, кроме меня, — застенчиво ответила Роза.

— Ну, так по этому я еще не могу судить: как тут разберешь, где учительница, а где ученица? Вот что, крошка: ты знаешь «Заиру» Вольтера?

— Да, — ответила Адель и показала на меня, — мы еще недавно читали ее с братишкой!

— Но ты не учила ее? Нет? Ну, так дай-ка мне книжку. Вот просмотри это место и прочти нам его. Ведь содержание ты помнишь, да? Ну, отлично!

Просмотрев указанный монолог, Адель принялась

читать. Сначала она от волнения глотала слова, комкала фразы, но чем дальше, тем дело шло все лучше, и к концу Адель разошлась вовсю, так что заключила монолог таким всплеском глубокого, неподдельного чувства, соединенного с возвышенностью тона, что у меня даже слезы выступили на глазах.

Дюмонкур встала, расцеловала Адель и сказала:

– Я счастлива, что у меня будет такая ученица! Ну, а теперь, маленькое чудовище, давай мне свою хорошенькую ручку и веди меня к столу. Глубокое волнение вызывает сильный аппетит, а ты действительно взволновала меня своим чтением!

III

Быстро бежали дни, проходившие в каком-то приподнятом настроении. Теперь Адель часто не бывала дома. Днем она ходила к Дюмонкур, по вечерам частенько, по протекции учительницы, посещала театр, где из-за кулис следила за представлением. Я бывал счастлив, когда мне удавалось проводить ее на урок или побывать с нею вместе в театре; но первое бывало возможным только в праздники, а торчать постоянно за кулисами рядом с хорошенькой девушкой было неудобно. Да и счастье-то это было чисто теоретическое: много горьких минут приходилось мне пережить, когда я бывал где-нибудь с Аделью. На улице меня раздражало,

что мужчины заглядываются на нее и что Адель без зазрения совести строит им глазки, а в театре случалось встречаться кое с чем и похуже.

Помню, однажды мы были в театре все трое: Роза, Адель и я. Роза была, как всегда, по обязанности, я заговорился с Сесиль, которую там случайно встретил, а Адель под шумок куда-то исчезла. Представление кончилось, Сесиль простилась со мною и ушла, а я стал поджидать обеих Гюс.

— Где же Адель? — с удивлением спросила меня старуха, подходя ко мне.

— Но я думал, что она с вами! Пойдемте поищем ее! — тревожно сказал я.

Мы отправились на поиски, но Адели не было нигде. Наконец, проходя мимо груды старых декораций, сваленных в углу, мы услышали смех и шум борьбы.

— Это нечестно! Это уже против условий! — слышался задорный голос Адели.

— Адель, что ты тут делаешь? — крикнула Роза, бросаясь в угол. Увидав нас, какой-то старичок, покрывавший лицо и шею Адели горячими поцелуями, отскочил и быстро скрылся.

Роза схватила девчонку за руку и молча потащила из театра домой. Там она накинулась на дочь с бранью и упреками.

— Да ты совсем с ума сошла, беспутная девчонка! — кричала Роза — Ты не понимаешь, что делаешь! Ла ты

себя погубить хочешь, что ли? Позволяешь целовать себя черт знает кому...

— Пожалуйста, без глупостей, мать! — резко остановила ее Адель. — Не воображай больше того, что есть на самом деле. Это — вовсе не черт знает кто, а герцог Ливри, завсегдатай кулис, имеющий большой вес в дирекции!

— Но все-таки, Адель...

— Ничего не «все-таки»! Герцог уже давно увивается около меня. Сегодня он вдруг заявил мне, что охвачен непреодолимым желанием поцеловать меня. Я ответила, что в его возрасте это должно стоить денег. Он пришел в восторг, подарил мне луидор и выговорил себе право три раза поцеловать меня. Не виновата же я, что он стал вдруг совсем сумасшедшим и принялся целовать меня без счета! Я собиралась потребовать от него дополнительную плату, но тут черт принес тебя не вовремя!

— Но все-таки, Адель, — сказала сразу смягчившаяся старуха, — надо быть осторожнее: ведь от невинных поцелуев можно незаметно дойти до крайне серьезных положений!

— По-о-о-жалуйста! — пренебрежительно протянула Адель. — Я не осталась бы одна с герцогом в темном уголке, если бы не знала, что он совершенно безопасен для женщин, а для меня тем более! Ну, довольно об

этом, я спать хочу! Ты скоро? Я иду. Покойной ночи, братишка! – и с этими словами Адель, как и всегда, когда бывала в хорошем расположении духа, подошла ко мне, чтобы обнять меня, и подставила лоб для поцелуя.

Но я резко отстранил девушку и желчно заметил:

– Не старайся попусту! От меня ты ни луидора, ни дополнительной платы не получишь!

Адель рассмеялась с оскорбительным пренебрежением и, пожав плечами, ушла в спальню, а Роза сказала мне:

– На девочку нельзя сердиться, милый месье Гаспар! Она идет своей дорогой, настоящей дорогой, месье, правильной!

Я встал и, не отвечая ни слова, ушел к себе. Полночи я горько проплакал, а остальную половину мучился в кошмарных сновидениях, непрерывно вертевшихся вокруг Адели. На другой день я должен был просить у нее прощения, так как не мог примириться с тем ледяным презрением, которым она меня встретила. Дня три Адель промучила меня, но потом милостиво простила: у нее вышли все засахаренные каштаны, поставлять которые лежало на моей обязанности.

IV

Чем дальше шло время, тем атмосфера у нас в доме становилась все возбужденнее. Близилось время, когда

надо было хлопотать об открытом дебюте Адели, и дни проходили в бесконечных разговорах по этому поводу. Обсуждалось, что сказала учительница, что мимоходом кинул девушке театральный закулисный завсегдатай; приводились разные факты из деятельности театрального интенданта, маркиза Гонто, который не дал дебюта одной многообещающей актрисе только потому, что ее родители не поняли, чего хотел от них сластолюбивый маркиз. Но мало было пройти сквозь своеобразную цензуру интенданта: предстояла еще цензура публичного мнения, и можно было быть уверенным: если зрители почему-либо встретят дебют Адели холодно, то ей, девушке без всяких связей в высших сферах, не получить ангажемента.

Но мало было и успеха у публики: надо было еще добиться успеха у журналистов, и для того, чтобы читатели усвоили себе, насколько это было важно, необходимо дать в этом отношении кое-какие сведения.

В то время во Франции газетное дело было только в самом зачатке, не то что теперь или даже в эпоху консульства: Наполеон ухитрился прикрыть 60 столичных и 104 провинциальных газеты, причем еще осталось 13 первых и 28 вторых. А за сорок лет до этого, в то время, к которому относится мой рассказ, газет было всего две (из них одна официальная – «Французский Меркурий»). Несколько лучше обстояло с журналами – их все-таки выходило несколько штук. Но не эти газеты

или журналы были страшны; по цензурным правилам того времени, частная газета или журнал не имели права высказывать свое мнение как в политике, так и в искусстве, а должны были поддерживать мнения, высказанные в официозе. Поэтому страшна была пресса, вызванная к жизни этим притеснением: лучшие, свободолюбивые умы того времени перебрались в Голландию, где и основали вольные, независимые органы французской мысли. Эти заграничные журналы имели в Париже своих корреспондентов и старались возможно полнее отражать все, касавшееся искусства. При этом авторы статей давали не казенное, а свое освещение художественных событий и нередко бранили артистов и пьесы только потому, что парижская пресса хвалила. Между тем иностранное общественное мнение гораздо больше прислушивалось к издававшимся в Голландии французским журналам, чем к парижским; поэтому, конечно, и приглашение на гастроли в иностранные государства в значительной степени зависело от мнения, составляемого за границей.

Считая, что Адель по красоте и таланту заслуживает европейского успеха, и понимая, что, каков бы ни был успех актрисы в Париже, ее всегда могут интригами удалить со сцены, где всем делом заправляли королевские чиновники, Роза и Дюмонкур были сильно озабочены тем, как отнесутся к дебюту Адели

корреспонденты французских журналов, издаваемых в Голландии: вдруг они будут ругать ее только потому, что «Меркурий» похвалит? Значит, надо было постараться познакомиться с этими корреспондентами, расположить их в пользу Адели.

Эта забота была возложена всецело на меня.

Разумеется, я всей душой участвовал во всех этих волнениях и тревогах. Личной жизни у меня не стало с тех пор, как я переселился под кровлю Гюс. Все мое существование заключалось теперь в Адели. Как же мне было не волноваться и не хлопотать?

И все-таки я умышленно старался представить себе, будто предмет этих волнений — дебют Адели — еще очень далеко. Ведь я понимал, через что должна пройти Адель, пока попадет на сцену, понимал, какая жизнь начнется для нее со вступлением в ряды актрис. Я не представлял себе, как я переживу весь этот ужас, как примирюсь, что моя красавица-девочка пойдет по рукам обожателей! Единственным утешением было гнать от себя действительность и верить, что эта беда еще далека!

В самый разгар всех этих тревожений я получил письмо от большого друга дяди-аббата, лорьенского судьи, который извещал меня, что кюре Дюпре очень болен и хотел бы перед смертью еще разок повидаться со мной. Но я не мог уехать из Парижа. Моя воля была связана, нельзя было оставить обеих Гюс в такое тревожное время. Да и как я покажусь на глаза этому

чистому, святому старцу? Под огнем его строгих глаз я не сумею утаить правду, а как омрачила бы эта правда последние минуты умирающего! Но я не сразу сдался; я проводил бессонные ночи в мучительном колебании: а может быть, все-таки поехать? Так прошло две недели, пока новое письмо не положило конца моим бесплодным колебаниям: дяди Дюпре не стало, он тихо умер с моим именем на устах!

Это письмо я получил вечером. В одну ночь я осунулся и постарел под влиянием невыносимых укоров совести. Но днем вернулась сияющая Адель: Дюмонкур возила ее к герцогу де Грамон, у которого собралось несколько любителей искусства, Адель читала там, имела выдающийся успех, за нее обещали хлопотать, и учительница на обратном пути сказала ей, что считает теперь ее дальнейшие успехи несомненными.

Адель носилась по юмнате, танцевала, пела, палила. Заметив мое угрюмое, подавленное настроение, она недовольным тоном спросила, почему я так мрачен, и, когда я рассказал ей о постигшем меня горе, бессердечная девчонка накинулась на меня с упреками. Хорош тоже друг! У нее такое торжество, а он сидит и куksится! Подумаешь, какое горе: умер никому ненужный восьмидесятилетний монах! Да если бы старики и старухи жили до бесконечности, куда было бы деваться молодым? — и так далее, и так далее...

Адель была бессердечна, зла, возмутительно

себялюбива. Но она была прелестна, как ангел, и я любил ее. Подчиняясь ее требованию, я сверхчеловеческим усилием воли подавил в себе воспоминания о дорогом покойнике и опять ушел в вихрь забот и волнений о судьбе безжалостной волшебницы.

V

Дни летели, незаметно подкралась весна, а с ней и день рождения Адели. Я долго думал, что бы подарить ей. Я знал, что ей очень хотелось иметь сережки, и присмотрел у ювелира прехорошенькую пару с чудными рубинами; но они стоили около четырех луидоров, а я боялся истратить такую сумму — не жалел, а именно боялся.

Для Адели мне ничего не было жалко, четыре луидора не разорили бы меня, потому что у меня были сбережения, увеличившиеся еще на двадцать золотых монет, пересланных мне лорьенским судьей от имени и по просьбе покойного дяди-аббата. Но я боялся обнаружить таким богатым подарком свои маленькие средства. Я предчувствовал, что настанет момент, когда Адель будет покинута, будет нуждаться и когда мои несколько тысяч ливров (я надеялся скопить их) окажутся ее единственным подспорьем. А осведомить

госпожу и юс о моих сбережениях значило отказаться от этой надежды, потому что и мать, и дочь были до крайности безалаберны с деньгами: в понятиях «мое» и «твое» они плохо разбирались. Даже больше: Адель открыто исповедовала принцип: «что мое, то мое, что твое, то... тоже мое». Покажи им только дорогу к моим деньгам, так быстро растают мои сбережения!

И до самого кануна дня рождения Адели я ходил в озабоченном недоумении. На примете для подарка у меня было многое другое, но все казалось мне недостойным Адели. И кончилось тем, что я пошел и купил все-таки сережки.

Придя домой, я повертел их в своей комнате около огня, полюбовался на дивную игру камней, запер сережки в ящик и собрался выйти к Гюс, как вдруг до моего слуха долетели обрывки тихого разговора между дочерью и матерью. Последняя говорила:

— Просто не знаю, что и делать! Необходимо пригласить гостей, а не примешь же их кое-как, особенно теперь...

— Да ведь ты всего неделю тому назад получила от братишки? — слышался укоризненный голос Адели.

— Мало ли что! По теперешним временам деньги просто горят... Откуда бы достать?

— Да попроси у Гаспара! Он-то, наверное, не успел еще растратить свое жалованье!

— Неловко, милая, я и так забрала у него за два

месяца вперед. Он ведь тоже не Бог знает сколько получает!

— Вот тоже пустяки — «неловко»! Велика важность! Хочешь, я попрошу? Мне-то он не откажет!

Я не стал дожидаться ответа старухи: мое решение было уже принято. Я вышел из своей комнаты и с самым невинным видом обратился к старухе:

— А у меня к вам просьба, дорогая мадам Роза. Я немножко раскутился в последнее время и остался без гроша. Не можете ли вы ссудить мне ливров десять дня на три? Я постараюсь достать в конторе и отдать вам!

— Господи, да откуда у меня быть деньгам! — с отчаянием ответила старуха, отмахиваясь от меня руками. — Я сама собиралась идти доставать деньги, только вот в голову не придет, у кого бы можно достать! Хотелось бы завтра справить день рождения дочери.

— Боже мой! — с отчаянием воскликнул я. — А я-то и забыл, что у нас завтра такое торжество! Вот не вовремя я раскутился!

Адель кинула на меня уничтожающий взгляд и ушла в спальню, кинув мне через плечо:

— А еще друг называется!

Вернувшись к себе, я втихомолку досыта посмеялся над разыгранной мною комедией. Я был доволен, что так удачно отразил попытку нападения на свой карман, и ликовал при мысли о той радости, которую доставит завтра Адели мой неожиданный подарок.

Действительно, ее радость была даже больше, чем я ожидал. Проснулся я на другой день ни свет ни заря и даже подосадовал: в будни просыпаешься с тяжелой головой, никак глаз не продерешь, а вот в праздник (день рождения Адели пришелся на воскресенье) заснуть не можешь!.. Несколько раз я выходил из своей комнаты в общую, но Адель не показывалась из спальни. Наконец я застал ее. Спрятав сережки в карман, я подошел к ней и сказал:

— Позволь мне, сестреночка, поздравить тебя с высокаторжественным днем твоего рождения и пожелать удачи и счастья!

— Спасибо! — высокомерно и сухо поблагодарила Адель, отворачиваясь от меня.

— А в ознаменование столь достославного события, разреши преподнести тебе вот этот пустячок! — не смущаясь продолжал я, доставая из кармана завернутые в розовую бумагу сережки.

Адель быстро обернулась, с некоторым недоумением взяла из моих рук пакетик, развернула его, вскрикнула и замерла с сережками в руках.

— Какая прелесть! — растерянно сказала она. — И это ты мне?.. Так вот почему, — крикнула она, — вот почему у тебя не оказалось денег вчера: ты истратился на меня! О, спасибо, спасибо, дорогой братишка! — и, прежде чем я успел предупредить ее движение, она кинулась мне на шею и крепко расцеловала меня.

шею и крепко расцеловала меня.

Не могу передать вам, какая болезненная дрожь пронизала меня в тот момент, когда ко мне прижалось это гибкое, пышное, желанное тело! Мне хотелось схватить Адель, смять в объятиях, раздавить кошмарным поцелуем, но, прижавшись на миг, нервное, змеиное тело девушки сейчас же вывернулось из моих объятий: Адель кинулась к зеркалу, чтобы примерить мой подарок.

— Вот что, Адель, — сказал я, вытирая пот, проступивший на лбу, и с трудом переводя дыхание, — ты лучше... брось эти объятия и поцелуй... Теперь ты стала взрослой девушкой, и не годится тебе...

— Вот чушь! — небрежно оборвала меня Адель, надевая сережки. — Выросла я или нет, да ты-то разве мужчина для меня? Ты — братишка. — Она повернулась несколько раз перед зеркалом, любуясь игрой камней, и с бессознательной жестокостью прибавила: — И никогда больше ничем для меня не будешь!

Вечером собрались приглашенные: старуха Гюс все-таки ухитрилась раздобыться деньжонками и устроила пир на славу. Был кое-кто из артистического мира; пришел писец секретаря маркиза Гонто; знакомый брата старшего режиссера, помощник суфлера — словом, влиятельные «низы». Позже всех явилась Дюмонкур и привезла радостную весть: маркиз Гонто ничего не имеет против дебюта молодой актрисы, но должен

сначала повидать ее и посмотреть, на что она годится.

При этом известии двое из мужчин сбегали в ближайший погребок и галантно притащили несколько бутылок дешевого шампанского – «тизан», которое было тут же распито. С трудом дождавшись удобного момента, я скрылся к себе в комнату. Напрасно я обольщал себя мечтой, будто развязка далеко: вот она уже стояла перед моими глазами! Точно я не понимал, что значит: «Маркиз должен сначала повидать ее и посмотреть, на что она годится»...

VI

Через несколько дней Роза повела в назначенное время Адель к маркизу Гонто. Уже много лет спустя Адель рассказывала мне о том, как принял их главный интендант. Впрочем, я уже оговаривался в начале, что буду передавать события не в том порядке, в каком мне удавалось их узнавать, а в том, в каком они случались на самом деле.

Перед этим страшным визитом Роза придела Адель, и девушка была такой хорошенькой, что у меня просто сердце разрывалось при взгляде на нее. В приемной, ожидая, пока маркиз примет их, Адель подошла к громадному венецианскому зеркалу и даже отскочила от изумления: она не узнала самой себя. Волнение слегка тронуло румянцем ее матовые щечки и

расширило зрачки васильковых глаз, в минуты нервного напряжения становившихся сапфировыми, а золотистые локоны удивительно картинно оттеняли классически правильные черты ее лица.

В кабинете маркиза уже находился кое-кто из уважаемых артистов, несколько театральных чиновников и два-три признанных ценителя искусства. В середине, в глубоком кресле сидел сам маркиз. Он был уже очень немолод, но его возраст искусно скрывался под заботливой холерностью лица. Держался он прямо, двигался с гибкостью юноши в расцвете лет, отличался изысканными манерами, сквозь безукоризненную вежливость которых просачивалось надменно-высокомерное отношение ко всему и всем. Лицо было скорее красиво, только умные глаза отталкивали светившейся в них холодной жестокостью. Да, жестокость, пожалуй, и была отличительной чертой характера маркиза, даже не жестокость, а полнейшее равнодушие к чужим страданиям. Вообще маркиз Гонто был типичным сыном своего века. Атеист, циник, сладострастник, он смеялся над всеми священными проявлениями человеческих чувств и все решительно мерил мерой собственного удовольствия.

В ответ на низкий, почтительный поклон вошедших маркиз с изящной небрежностью кивнул головой и сказал:

— А вот и вы! Отлично, отлично, подойдите сюда

— А, вот и вы: Отлично, отлично, подойдите сюда, ми...

Тут он взглянул на Адель, и слова замерли у него: маркиз ожидал увидеть смазливенькую уличную девчонку, а увидел сказочную принцессу, легендарную фею.

От восхищенного удивления маркиз даже приподнялся на локтях.

— Так вот ты какая! — пробормотал он. — Ну, подойди же поближе, крошка!

Когда Адель подошла ближе к столу, маркиз задал ей ряд вопросов, касавшихся подготовки ее к сцене. Адель ответила ему обстоятельно и дельно, что сначала с нею занималась мать, сама бывшая когда-то актрисой, потом госпожа Дюмонкур, а общее образование она получила под руководством специально нанятого учителя (это я-то!).

Затем приступили к экзамену, который особенной строгостью не отличался: по всему было видно, что решение маркиза уже принято и что испытание — просто формальность. В самом непродолжительном времени маркиз кивком головы отпустил мать и дочь, небрежно кинув, что он в свое время известит их о результатах их ходатайства.

В прихожей Гюс нагнал изящный молодой человек; он отрекомендовался секретарем маркиза и сказал Розе:

— Его сиятельство просил передать вам, что он не

успел составить себе достаточное представление о пригодности барышни для сцены и желал бы, чтобы она еще раз прочитала ему что-нибудь из приготовленного репертуара. Будьте добры сообщить мне ваш адрес; завтра вечером в восемь часов маркиз придет за барышней свою карету... Ваше присутствие, мадам, будет совершенно излишне, так как та же карета доставит барышню домой!

Роза просияла, рассыпалась в благодарностях, а Адель вдруг почувствовала себя скверно. Она была достаточно осведомлена в вопросах греха, но слишком отвлеченно, так сказать, головой. А тут ее молодое тело вдруг взбунтовалось и запротестовало против того, что ждало ее... Как бы испорчена, распущена ни была девушка, но в ее душе все же найдется уголок, отведенный грезам о любви, о поэме первого бескорыстного увлечения; начинать же с любви по необходимости — это тяжело каждой девушке, если только она по праву носит это имя...

На следующий день старухе Гюс с утра пришлось рыскать по городу, чтобы достать денег: нельзя было отпустить Адель кое-как, надо было купить ей тонкое белье, новые туфельки и нарядную шляпку. Когда я вернулся из конторы, Розы и Адели еще не было. Прислуга подала мне холодного мяса, я кое-как закусил и стал с тоскливым отчаянием дожидаться возвращения своих хозяек. Наконец явились и они — радостно

оживленные рысканием по магазинам. Затем начались сборы. Роза приготовила для дочери ароматную ванну, втерла ей в тело благоухающее масло, расчесала, подвила и собрала в кокетливую прическу золотистые волосы девушки. Я слышал из своей комнаты оживленный, веселый голосок дорогого мне существа и мучительно думал:

«Неужели она не испытывает ни страха, ни ужаса перед предстоящим ей? Пусть этот позор вынужден, но неужели она так и пойдет на него с холодным спокойствием бывалой женщины?»

За полчаса до восьми Адель была готова, и меня кликнули, чтобы я пришел полюбоваться на принаряженную девушку. Адель была хороша, как куколка, но мне она в этом виде понравилась несравненно менее, чем в обычном домашнем наряде. Впрочем, о моем впечатлении никто и не спрашивал: Адель была в возбужденно-шаловливом настроении. Она кружилась по комнатам, весело напевая какую-то песенку, или принималась разыгрывать в лицах ту комедию, которая должна будет разыгаться у нее с маркизом. Она копировала Гонто, изображала, как она будет сидеть на кончике стула, с пугливой наивностью опустив взоры, и как маркиз будет подбираться к ней. Странное дело! Ведь Адель в то время о многих сторонах жизни не имела ясного представления, а между тем она попарительно копировала старческую

похотливость Гонто. Это была великая актриса, которая умела чутьем находить верный тон в изображении даже того, чего она не могла знать по опыту.

И вдруг среди этих забав раздался стук, в комнату с надменным видом прирожденного аристократа вошел нарядный ливрейный лакей и торжественно провозгласил: «Карета его сиятельства маркиза Гонто к услугам девицы Гюс!» — и, грациозно поклонившись, отошел обратно к двери.

При этих словах Адель смертельно побледнела; ее глаза потемнели, а руки с мучительной скорбью схватились за сердце. Я невольно перевел взор на Розу: даже эта старая мегера взволновалась, подбежала к дочери, обняла ее и чуть не плача шепнула:

— Что же делать, доченька, так надо! Авось хоть он не будет чересчур жесток с тобой...

Роза хотела сказать еще что-то, но у нее в горле заклокотали подавляемые рыдания, и она невольно замолчала.

Нерешительная слабость девушки продолжалась одно мгновение. Она отстранила мать и ледяным тоном сказала куда-то в пространство: «Надо... а что надо, то надо»... — после чего подошла к двери и таким королевским взглядом окинула с ног до головы лакея, что тот даже пригнулся.

— Ну, что же вы стоите, как дубина? Откройте

дверь! — надменно крикнула она, и лакеи кинулся подобострастно исполнять ее приказание.

Мы с Розой вышли проводить Адель. Карета скрылась из глаз, а мы со старухой все стояли и смотрели ей вслед. Я первый очнулся от этого забытья, заложил руки в карманы и ушел в ближайший кабак. Что там происходило, я плохо помню, потому что через полчаса я напился почти до бесчувствия. Помню только, что я очутился в отдельном кабинете с какой-то женщиной, что я рыдал и выкрикивал какие-то бессвязные проклятия, а сидевшая со мной женщина обнимала меня и равнодушно твердила:

— Наплюй на них, голубчик, лучше выпьем! И я опять принимался за вино.

Не помню, когда и как добрался я до дома: очнулся только через неделю. Как оказалось, я схватил жесточайшую горячку.

Во время болезни Роза почти безотлучно находилась при мне и пестовала, как родная мать. Заходила и Адель. Она казалась мне более бледной, повзрослевшей; что-то скорбное, задумчивое, серьезное было в ее лице. Заходила она на минуточку, с легким смущением встречала мой взгляд и под первым удобным предлогом спешила уйти.

Я пролежал в кровати пять недель. В течение этого времени карета маркиза Гонто четыре раза приезжала за Аделью. Но вот однажды я услышал, как в соседней

комнате Адель тихо сказала матери:

— Ну наконец-то я избавилась от этой ужасной обезьяны! Я уже начинала бояться, что он серьезно привяжется ко мне, но на мое счастье Гонто обратил благосклонное внимание на новую балерину Виченца и занимается теперь с нею, а мне говорили, что эта обезьяна никогда не возвращается к прежним увлечениям!

— О, нет, никогда! — подтвердила мать. — Да и к чему ему это? Ведь постоянным предметом его страсти служит Колетта, а для развлечения хватит бесконечного притока свежих сил!

— Ну, и отлично, если так! — со вздохом сказала девушка, а затем у нее вдруг с непривычной искренностью вырвалось: — Ах, мать, мать! Какие скоты эти мужчины и какая грязная история эта их любовь!

Уже на следующее утро после подслушанного разговора в моем здоровье обнаружилось громадное улучшение, а через три дня я мог понемногу вставать.

VII

«Договаривающиеся стороны», как говорим мы, юристы, честно исполнили принятые на себя обязательства. Адель добросовестно заплатила за право выступить на сцене, и маркиз не обманул ее: девушка получила лебют в пьесе «Заира». назначенный на олин

из ближайших вслед за Пасхой дней. Таким образом маркиз теперь уже умывал руки: все дальнейшее должно было зависеть от исхода дебюта.

Чем ближе надвигался этот страшный, решительный день, тем более волновались Адель и я. Я волновался от мысли, что не успею окончательно оправиться ко дню первого выступления любимой девушки, ну а о причинах волнения дебютантки и говорить нечего: они понятны сами собой. Только Розе некогда было волноваться: она хлопотала не покладая рук: оказывала услуги жене старшего режиссера, навещала заболевших детей суфлера, осыпала тончайшей лестью будущих партнеров Адели – словом, тщательно подготавливала почву.

Недели за две до дебюта, когда я уже мог хотя и с некоторым трудом передвигаться по комнатам, Роза завела о дочери такой разговор:

– Милая Адель, присядь и выслушай меня внимательно и терпеливо! Ты стоишь сейчас на пороге новой жизни и должна подумать, с чем и как ты вступишь в эту жизнь. Я знаю, ты волнуешься за исход своего дебюта. Ну, а я так вовсе не боюсь за твой успех, потому что ты красива и талантлива. Но вот что будет потом – об этом надо подумать теперь же. Ну, хорошо, тебя пригласят на сцену, ты будешь артисткой. А дальше? Если жить на те жалкие гроши, которые платят

у нас, во Франции, то не стоило и хлопотать так много. Да на них и нельзя прожить: одни туалеты съедят вдвое больше. Актриса живет поклонниками, богатыми поклонниками, душа моя!

— Ну, все это я уже тысячу раз слышала! — резко ответила Адель. — Дальше-то что? Выкладывай прямо, куда ты клонишь? Опять к кому-нибудь на продажу повести хочешь? Ну так выбрось это из головы: пока этого не будет! Так в чем же дело?

— Хорошо, пусть пока этого не будет. Но помни: ты должна стремиться к тому, чтобы обеспечить себе и своей старухе-матери спокойную, довольную жизнь. Между тем в настоящем положении ты лишена возможности окружить себя таким обществом, которое почтет за честь осыпать тебя подарками за одно удовольствие видеть. Представь, кавалер захочет поднести тебе букет. Что же, он понесет цветы на эту грязную уличку, в эту убогую квартирку? Отправишься ты с компанией в кабачок. В чем ты поедешь? В скромном платье мелкой модистки?

— Да не мямли ты, говори скорее! — нетерпеливо оборвала Адель мать. — В чем дело-то?

— Дело в том, что у меня, как ты знаешь, есть небольшой капиталец, на проценты с которого я могу спокойно прожить до смерти. Но, если вынуть деньги из того предприятия, куда поместил их месье Гаспар, если обратить их на то, чтобы сразу создать тебе богатую

рамку, то через полгода-год ты с громадной лихвой вернешь эти деньги обратно.

— Ну, разумеется! — воскликнула Адель. — Это так ясно, что тут и думать нечего!

— Э, нет, дочка милая! — возразила старуха, покачивая головой. — Ты вот и теперь, когда от меня зависишь, так обращаешься со мной, как в хороших домах и с прислугой не обращаются. Что же будет со мной, когда я истрачу на тебя все свои деньги? Да ты меня просто из дома выгонишь! Нет, милая моя, дай мне сначала клятву перед образом, что ты честно будешь передавать мне все деньги, которые получишь, что ты, и в славе не выйдешь из повиновения мне! Вот тогда я рискну своими деньгами!

— Вот как! — с язвительным хохотом ответила Адель. — Я буду работать, а ты будешь пользоваться?

— Я ни в чем не буду стеснять тебя! Ты будешь иметь нарядные туалеты, лошадей, драгоценности, словом — все! — поспешила сказать мать. — Тебе даже лучше будет: ведь этим ты будешь избавлена от хлопот — живи себе припеваючи, словно барыня!

— Ну уж нет, этого не будет! — вспыхнула девушка.

— Не будет, так не будет, — спокойно отозвалась мать. — Как хочешь! Только тогда и с моей стороны тебе ничего не будет. Я добросовестно поставила тебя на ноги — теперь справляйся сама, как знаешь!

— И справлюсь! — вызывающе буркнула Адель.

– Пожалуйста, справляйся! После дебюта тебя, наверное, пригласят ужинать: отправляйся на этот ужин в том платье, в котором ездила к маркизу. Правда, это платье кое-где помялось, кружево в двух местах порвалось: ничего, можно разгладить и подштопать... И не по сезону это платье; тоже правда. Ну да что требовать с бедной начинающей актрисы!

Адель окончательно раскипятилась, обрушилась на мать с самыми страшными проклятиями, угрозами. Старуха спокойно выслушала все это, она знала, что Адель в конце концов должна будет согласиться. И Роза не ошиблась: уже на следующий день Адель дала требуемую клятву. Она оговорила только, чтобы все сдаваемые ей суммы и производимые матерью траты записывались в специальную книгу, вести которую должен буду я. Мне, конечно, это было очень не по сердцу. Но разве я мог в чем-либо отказать Адели?

Успокоившись за свою судьбу, Роза вынула пристроенные мною деньги из предприятия, сняла хорошенькую квартирку в приличном квартале и со вкусом обставила ее. В новой квартире у Адели были три комнаты с отдельным ходом: спальня, будуар и столовая-зал. Кроме того, были комнаты – для меня, для старухи и одна общая. Специально для Адели была взята хорошенькая, бойкая камеристка Мари. Словом, дом, что называется, был сразу «поставлен». О том, что комнаты Адели представляли собою царские бонбоньерки, что

Адели представляли собою нарядные обношенки, что ее платяные и бельевые шкафы ломились от нарядов, и говорить нечего!

Но Адель почти не обратила внимания на все это великолешие: до дебюта оставалось очень немного времени, и с каждым днем ее волнение все возрастало. Она бегала по своим трем комнатам, словно разъяренная тигрица, швыряла все, что попадало ей под руку, и только в один последний перед дебютом день мне пришлось внести в графу расходов следующую статью: «Покупка двух новых ваз, шести стаканов, графина, двух ламп, разбитых Аделью, а также переобивка изодранного кресла – 29 луидоров 16 ливров и 8 денье».

Мне и Розе лучше было не попадаться девушке на глаза: одна из ламп и два стакана были разбиты при попытках матери образумить Адель. Но девушка действительно была как безумная: ею вдруг овладевала непонятная уверенность, что она читает роль отвратительно, что она и шага не сумеет ступить на освещенной сцене, что она обязательно провалится. Бывали моменты, когда она серьезно размышляла, не лучше ли сразу отравиться, чем дожить до такого позора!

По временам я и Роза слышали, как Адель начинала читать какой-нибудь монолог из своей роли, потом внезапно обрывала, топала ногами, кричала: «Не то! Совершенно не то!» – и заливалась слезами. Иногда к этим звукам примешивался звон разбиваемого стекла. В

таких случаях старуха поднималась, осторожно подкрадывалась к дверям Аделиной половины, потом, заглянув туда, на цыпочках возвращалась обратно и говорила: «Слава Богу, это только стакан!» – или с сокрушением: «Боже мой! Еще одна фарфоровая лампа полетела на пол!»

Так приближалось время дебюта.

VIII

Настал наконец и этот знаменательный момент!

Весь день Адель пролежала в кровати с адской головной болью. Когда она к вечеру оделась, то я был поражен мертвенной бледностью ее лица. Глаза горели безумным огнем, громадные черные круги траурной каймой окружили их. Увидев меня, она поманила меня пальцем, а когда я подошел, крепко схватила мою руку ледяными пальцами и мертвым голосом прошептала:

– Братишка, ты должен быть со мной на счастье! Ох, я, кажется, умру...

Тут у нее закружилась голова, она чуть не упала.

Я подвел Адель к креслу, она опустилась на подушки и просидела в безнадежной неподвижности до того момента, когда надо было ехать в театр.

Всю дорогу она молчала, беспомощно сжавшись в углу кареты. Молчала она и в уборной: ни звука не доносилось до меня из-за занавески, за которой возле

дебютантки хлопотала сначала камеристка, потом парикмахер. Несколько раз забежал режиссер, делал замечания насчет грима или деталей туалета и стремглав улетал дальше. Зашла Дюмонкур, чтобы благословить свою питомицу на дебют, но, видя, до чего доходит волнение девушки, опытная актриса, которая лучше всякого другого понимала душевное состояние дебютантки, поспешила уйти.

Наконец из-за занавески показалась Адель. Она была еще бледнее, чем раньше, и ее бледности не скрывал даже грим. Она была так слаба, что еле держалась на ногах. Бессильно упав в кресло, она уныло шепнула пересохшими губами:

— Я не могу играть... Боже мой, Боже мой, что будет со мной! Тут уж побледнел и я: но ведь она и в самом деле не может играть! Что же будет?

Вдруг дверь с треском распахнулась, показалась растрепанная голова сценариста, который крикнул:

— Мадемуазель Гюс, на сцену!

Адель вскочила, словно ее ужалила змея. Она сразу преобразилась: не было следа бледности, расслабленности, нерешительности. Возбужденные глаза стали еще больше, чем всегда, и светились уверенностью и торжеством. Спокойно, словно ни в чем не бывало, она повернулась перед зеркалом, осмотрела себя с ног до головы и сказала, подходя ко мне:

— Ну братишка, ну на счастье!

— Ну, обратилась, руку на счастье:

Сценариус снова влетел в комнату и с отчаянием крикнул:

— Да на сцену же, черт возьми!

— Иду, иду! — со спокойной улыбкой ответила Адель и твердой поступью вышла из уборной.

Я так и остался сидеть на месте, пораженный этой волшебной переменой. От недавней болезни и пережитого волнения я чувствовал себя разбитым и слабым. Не знаю, сколько времени просидел я в полном упадке физических и моральных сил. Вдруг странный шум, раздавшийся издали, заставил меня вскочить и прислушаться. Сначала это был какой-то сухой треск, который быстро стал нарастать и перешел в целую бурю. В этом шуме было что-то похожее на голос моря, бившегося о скалы в милом Лориене.

Мимо дверей уборной кто-то прошел, и я услышал голос, говоривший:

— Кто бы мог подумать! Ведь на генеральной репетиции крошка Гюс играла из рук вон плохо!

Так это аплодировали Адели?

Не помня себя от восторга, я кинулся к боковым кулисам.

IX

Я не знаю, скажут ли что-нибудь читающему эти

строки два слова: «Вольтер» и «Заира», которые в то время глубоко волновали весь Париж? Ведь людская слава изменчива, и вчерашние кумиры уже завтра обрастают мхом забвенья. Еще недавно парижане с восторгом заучивали наизусть красивые строки из комедий Грессэ, а теперь разве только школяры знают, что есть такой писатель. В мое время весь Париж распевал арии из оперы Гретри «Ричард Львиное Сердце», а теперь их нигде и не услышишь. Так и с Вольтером. Как знать, может быть, подрастающее поколение уже развенчивает его?

Впрочем, и в то время далеко не все одинаково смотрели на великого писателя. Одни преклонялись перед ним, другие язвительно вышучивали и называли увлечение парижан трагедиями фернейского старца просто временным умопомешательством. Поэтому, принимая во внимание, что в то время, которое я описываю, значение Вольтера было очень велико и что потомки могут и не знать его, я на всякий случай скажу несколько слов как о самом авторе «Заиры», так и об этой пьесе. Последнее необходимо хотя бы для того, чтобы полнее уяснить читателю торжество Адели.

Право, даже затрудняюсь сказать вам, что за человек был этот Франсуа Аруэ (настоящее имя Вольтера). Что это был большой талант, в этом сомнений быть не может. Но разве талант заключается только в умении красиво излагать свои мысли? Разве не должны эти

мысли служить ко благу человечества? Да, как писатель Аруэ был бесспорно велик, но как общественному деятелю, как человеку ему кое-чего не хватало. И это «кое-что» станет нам ясным, если мы обратим внимание на странную двойственность его поведения.

Вольтер был большим драматическим мастером, его трагедии пробуждали в обществе благородные мысли и желания. И он же написал отвратительную, кощунственную поэму, в которой вывел Орлеанскую Деву под видом низкой уличной развратницы. Но ведь каждый народ должен иметь свою легенду, своего героя, светлые странички в прошлом: это помогает ему терпеливо переносить бедствия момента. Так честно ли разрушать в нем веру в этого героя, в это светлое прошлое?

Вольтер страстно громил тиранов, призывал народы освободиться от гнета единодержавия – и он же все время терся около венценосных особ, заискивая в их милости. Он играл скверненькую роль при маркизе де Помпадур, превознося в стихах мнимые достоинства этой нечестивой Иезавели, домогаясь милостей Людовика XV. Когда ему это не удалось, он отправился к прусскому королю Фридриху II. Поссорившись с ним, Вольтер заискивал перед русской императрицей. Когда в последствии попал в Россию, мне случайно удалось ознакомиться с некоторыми из его писем к Екатерине II, которых императрица отнюдь не скрывала. Еще бы!

которых императрица отнюдь не скрывала. Еще бы. Посмотрели бы вы на эти письма!.. Более подлую и беззастенчивую лесть мне в жизни не приходилось читать. Вольтер называл русскую императрицу «пресвятой владычицей снеговой», писал, что она выше Солона, Ликурга, Петра Великого, Ганнибала, выше всех святых, и только одна Богородица может сравняться с нею; он удивлялся, как это Екатерина II нисходит до переписки с таким «старым вралем» и «старой тварью», как он, Вольтер. И все это он делал из-за тех подачек, которые слала ему довольная императрица!

Всех примеров странной двойственности его мысли и дела не перечесть. Укажу только еще на один разительный случай, который особенно подчеркивает разногласие между принципами и поступками Франсуа Аруэ.

Вольтер много страдал от цензурных стеснений и горячо восставал против ограничений свободы слова. Но когда его трагедия «Семирамида» прошла в Париже без успеха и Монтиньи, по обычаю того времени, написал на нее пародию, то Вольтер до тех пор хлопотал, заискивал, лебезил перед Помпадур и высшими чинами двора и правительства, пока ему не удалось добиться королевского указа, запрещающего представление на сцене невинной пародии.

Да, вот каков был Вольтер! Даже я, его современник, не могу разобраться в его личности, и

потомству тем не более не составить себе ясного взгляда на него.

Но если рассматривать Вольтера исключительно по его творениям, то можно только преклониться перед ним. Его влияние на умы того времени было огромно. Своими «Философскими письмами», в которых описывалось политическое устройство Англии, он пробудил во французском читателе сознательное недовольство тем строем, при котором какая-нибудь Монтеспан или Помпадур могла жиреть и обогащаться за счет соков истощенного народа. Эти мысли были еще округлены рядом трагедий, в которых Вольтер косвенно нападал на фанатическую нетерпимость католицизма, на подавление мысли, на засилье высшего дворянства, и многие стихи из его трагедий с торжеством повторялись тысячами уст неправых французов, как повторялись, например, следующие строки из «Магомета»:

Все смертные равны; различье не в рожденье,
А в добродетели высокой проявленье.

Вообще творения Вольтера популяризовали в широких массах освободительные идеи, и Франция много обязана ему тем, что впоследствии стала тем

центром, из которого лучами распространились по всему миру призывы к свободе, равенству и братству.

Такова была и его трагедия «Заира». В ней глубокая мысль счастливо сочеталась с поразительной красотой стиха и вулканической страстью.

Немудрено, если публика всегда горячо принимала ее представления.

Вкратце сюжет трагедии «Заиры» таков. У иерусалимского султана Оросмана в плену две рабыни – Фатьма и Заира, несколько французских рыцарей, среди которых выделяется благородный Нерестан, и престарелый Лузиньян, потомок бывших иерусалимских королей. Фатьма и Заира в детстве были христианками, но они не помнят этого и не знают своего происхождения.

Оросман под честное слово отпускает Нерестана во Францию, где последний надеется достать средства на выкуп остальных пленных. Благородный и великодушный рыцарь сдерживает свое слово и возвращается в Иерусалим, но он не достал достаточно денег, чтобы выкупить всех: он считает, что в плену должен остаться он один. Но Оросман не желает, чтобы француз превосходил его в великодушии, и отпускает не только всех условленных, но и самого Нерестана, а также и многих других. Только одной Заиры он не отпускает: они любят друг друга, и Заира должна вскоре стать законной женой султана.

Случайная встреча Лузиньяна с Заирой и Нерестаном открывает первому глаза на то, что Заира и Нерестан – его дети, которых он считал погибшими. Лузиньян умоляет Заиру отказаться от любви к иноверцу, но Заира слишком любит султана и колеблется.

Центр действия трагедии – борьба Заиры между двумя чувствами. Она ничего не решает, она хочет сначала посмотреть, сумеет ли католический священник пробудить в ней достаточно решимости: когда она спросила брата, чего потребует от нее христианская религия, тот ответил: «Чтобы ты возненавидела врагов веры». И вот эта-то ненависть, столь противная духу истинного христианства, и увеличивает колебание девушки. Но она все-таки хочет попытаться. Однако Оросман из ревности убивает Заиру: ведь она по требованию отца и брата скрыла от жениха тайну своего происхождения, и султан заподозрил, что она обманывает его с Нерестаном.

Чуть ли не впервые в этой трагедии со сцены к зрителям говорил магометанин, отличающийся высокой добродетелью: до того иноверцев непременно выводили отчаянными злодеями. Кроме того, Вольтер ясно показал в этом произведении, что и магометанин может обладать более широкими взглядами, чем христианин, если последний превращает христианство в католичество, то есть смотрит на жизнь не глазами

Христа, а надетыми на них уродливыми очками патеров-иезуитов. Ведь вся трагедия Заиры в том, что ее отец и брат – узкие католики. И не в пользу последних разница отношений друг к другу султана и французского рыцаря: первый уважает во французах достойных противников, второй видит в мусульманах злых врагов. И Вольтер ясно показал современному обществу, что заветы Христа касались только мыслей и поступков, а никак не фанатического следования определенному ритуалу: Богу все равно, на каком языке и какими словами люди будут молиться Ему, лишь бы их жизнь согласовалась с требованиями добродетели. Вот что представляла собою трагедия «Заира». Теперь возвращаюсь к Адели.

X

Хотя на первом представлении я и пропустил первую сцену первого действия, но впоследствии я так часто видал Адель в этой роли и так много было разговоров о ее дебюте, что теперь я могу объяснить причину услышанных мною аплодисментов так, как если бы сам сидел в зрительном зале.

Первая сцена застает Заиру в разговоре с Фатьмой. Фатьма удивляется, что Заира переменилась: она более уже не плачет, не рвется к берегам Сены. Заира отвечает ей с похвальной молчаливостью. Но Фатьма

си с ленивой мечтательностью. По Фатьме допытывается, она касается отношений султана к подруге. И вот тут-то Заира вся вспыхивает, загорается. Ее голос рокошет сдержанными переливами страсти, когда она говорит о том, как прекрасен Оросман.

До Адели эту роль играли совершенно иначе: актрисы с самого начала брали высокий, напыщенный тон, и красота этого монолога пропадала. Поэтому публика, привыкшая чувствовать пылкость Заиры с первых слов, вначале отнеслась к игре Адели с недоуменной холодностью. Но когда в признании Заиры бриллиантовыми искорками вспыхнула и загорелась страсть, публика сначала замерла, а потом разразилась бешеными аплодисментами. Теперь успех Адели был уже свершившимся фактом и с колоссальной скоростью рос по мере развития действия. Диалог Заиры с Оросманом в интерпретации Адели приобрел такую красоту, Адель показала такую гибкость интонаций, столько красивой, сдержанной страсти, что публика не захотела после ее ухода со сцены слушать разговор султана со своим другом, заглушая слова артистов неистовыми вызовами Гюс.

Великолепный, выигрышный монолог Оросмана, которым кончается первый акт, был смят и пропал: публика требовала Гюс, Гюс и Гюс!

Дальше продолжалось то же самое. Артисты играли великолепно, но публика зевала, пока на сцене не

показывалась Адель, и аплодисментами по ее адресу заглушала других артистов, когда дебютантка уходила за кулисы. Второй акт, где Заира находится в нерешительности между своей любовью к султану и дочерними обязанностями к Лузиньяну, требующий от артистки непрерывной игры, был сплошным триумфом Адели.

Я стоял около боковых кулис, слушал ее и не замечал, как по щекам у меня текли слезы восторга.

После коротенького третьего акта к Адели в уборную явилась целая группа аристократов, предводительствуемая старым герцогом Ливри, тем самым, который несколько лет тому назад во мраке кулис целовал Адель за деньги и поцелуи которого впервые вызвали во мне ревность по отношению к моему кумиру.

— Обожаемая! — засюсюкал старик, со старческой чувственностью осыпая руки Адели поцелуями. — В память нашего старого знакомства я разрешил себе привести сюда этих господ, которые спешат выразить вам свой восторг и удивление. Париж уже давно не видал ничего подобного... Однако мои друзья выражают нетерпение... Позвольте представить вам, обожаемая, доблестного маршала де Рогана, принца Субиза!

Пятидесятилетний маршал с изысканностью старого придворного склонился перед Аделью и

галантно поцеловал протянутую ею руку.

Я просто диву давался: откуда у этой уличной девчонки взялось такое благородство манер, такая самоуверенность движений!

— Я счастлив поклониться одним из первых только что взошедшей, но уже ярко сверкающей звезде родного искусства! — сказал принц. — Я горжусь, что живу в одно время с нею!

— О, ваша светлость, — ответила Адель, — это я должна гордиться тем, что имею счастье видеть перед собою славного воина, оплот моей родины!

— Что за женщина, что за женщина! — воскликнул Ливри, восхищенный ответом актрисы. — Боже мой, сколько даров в одном существе! Талант, красота, грация, ум! А страсть! Меня особенно пленила страсть, которая так ярко блистала в Заире!

Адель надменно, искуса взглянула на сюсюкающего старичка. Тон, которым она ответила ему, еще более подчеркивал разницу между ее предыдущей манерой разговора с маршалом и тем почти оскорбительным пренебрежением, с которым она третировала Ливри.

— О, это вовсе не удивительно, герцог, — сказала она, — мы всегда восхищаемся в других тем, чего нет в нас самих!

Ее остроумный и меткий ответ вызвал громкий хохот присутствующих.

— Но позвольте герцог — недовольно сказал

— Но позвольте, герцог, — подовольно сказал молодой человек лет тридцати с лишним худощавый, стройный, даже довольно красивый, если бы только его правильного лица не портили глаза, светившиеся холодной жестокостью и подозрительностью, — позвольте, герцог, ведь вы, кажется, хотели представить нас, а вместо того сами занимаетесь разговором!

— Бога ради, простите, милый де Сартин, — спохватился герцог, — но ведь эта злая волшебница хоть кого с толка собьет! Позвольте представить вам, божественная, нашего генерал-лейтенанта парижской полиции, господина де Сартина!

Сартин в свою очередь приложился к милостиво протянутой руке и обменялся с Аделью несколькими изысканными фразами.

Вслед за ним Ливри назвал еще ряд фамилий, и в воздухе так и засверкали эффектные титулы, имена старейших французских родов.

Когда представления были закончены, Ливри снова повел речь.

— А теперь, дорогая мадемуазель Гюс, — сказал он, — позвольте мне от имени всех представленных вам предложить вам разделить с нами скромную трапезу после окончания спектакля: мы непременно хотим отпраздновать удачу вашего дебюта! Не томите же нас, божественная, удостойте согласием!

— Я очень благодарна вам, господа, — с милостивым

кивком головы ответила Адель, — но...

Она остановилась, увидев, что дверь уборной распахнулась, пропуская новое лицо.

Это был молодой человек лет двадцати пяти, стройный, гибкий, одетый со всей изысканностью цеголя того времени. Его нежное, словно у девушки, лицо дышало умом и благородством, серые, полные веселой отваги глаза горели восторженным огнем.

— Ба, да это князь! — воскликнули присутствующие. Ответив им молчаливым кивком головы, князь подошел к Адели и с почтительным поклоном начал:

— Сударыня...

Но Адель царственным жестом остановила его и надменно кинула:

— Сударь, я не имею привычки говорить с незнакомыми людьми!

— Но ведь это — князь Дмитрий Голицын, посланник ее величества императрицы! — с каким-то испугом сказал де Сартин.

— Князь — посланник в своем посольстве, — холодно оборвала генерал-лейтенанта Адель, — здесь же вы все — только мои гости, прошу не забывать этого!

Девчонка играла в смелую игру! Я в то время сильно испугался за нее, но потом оказалось, что подобный тон сразу создал ей выгодную позицию: чем больше женщину уважают, тем она дороже стоит.

Князь Голицын, известный дипломат, ученый и

писатель, был слишком умен, чтобы не суметь с честью выйти из создавшегося положения. Он почтительно поклонился Адели и обратился к Ливри со следующими словами:

— Не возьмете ли вы, дорогой герцог, на себя труд представить меня барышне?

Ливри охотно согласился на это.

Когда Голицын был представлен, он сказал:

— Извиняюсь, сударыня, если я ненамеренно оскорбил вас. Но ваши сотоварки, приезжающие к нам в Россию, да и те, которых я знаю здесь, не придерживаются подобной строгости: у сцены имеются свои вольности. Однако, раз вы не хотите их допускать, это — ваше право, перед которым я преклоняюсь. Надеюсь также, что просьба, с которой я хотел обратиться к вам, не будет сочтена вами за оскорбление. Я хотел просить вас разрешить мне чествовать ваш блестящий дебют...

— Ужином? — перебил его Ливри. — Ну нет, князь, мы уже опередили вас, и барышня выразила согласие. Если вы хотите присоединиться к нам...

— Но я еще не давала вам своего согласия! — перебила герцога Адель. — Я готова поехать с вами, но только при соблюдении неременного условия: без братишки, — она показала рукой в отдаленный угол, где стоял я, — я не поеду!

Я сильно перепугался. Что это еще за новая прихоть

и что я буду делать среди всех этих блестящих господ? Правда, я – дворянин, но гений Вольтера значил больше любого дворянства, а не постеснялся же вот этот самый маршал де Роган приказать своим лакеям отдубасить Вольтера за одну неосторожную шутку! Правда и то, что тогда Вольтер позволил себе слишком много...

Ливри смущенно замялся, но маршал не задумываясь сказал, с легким кивком головы по моему адресу:

– Что же, если вы этого хотите, то мы ничего не имеем против общества господина Гюса...

– О, он на самом деле вовсе не брат мне! – со смехом сказала Адель. – Он мне даже и не родня: месье Лебеф – дворянин и занимается юриспруденцией. Но я называю его братишкой, потому что Гаспар очень много сделал для меня, и сегодняшним успехом я на три четверти обязана только ему!

Я слышал, как Голицын гневным шепотом сказал герцогу Ливри:

– Позвольте, да эта девчонка имеет смелость навязывать нашему обществу своего любовника!

– Поверьте моей старческой опытности, – ответил Ливри, – мужчина, состоящий на положении брата, никогда не будет для женщины ничем иным! Да и этот чертенок слишком умна, чтобы сделать такую глупость!

– Но тогда к чему же, – недоумевающе заметил

князь, — к чему?..

— Девчонка знает себе цену; если бы ее мамаша была чуть поприличнее, она заставила бы пригласить ее...

Появление сценариуса, звавшего Адель на сцену, положило конец перешептыванию.

Четвертый акт с поднятия занавеса застает Заиру на сцене, поэтому Адели надо было торопиться. Она кивнула обществу головой и сейчас же упорхнула.

Как только она ушла, я сейчас же подошел к присутствующим и вежливо и скромно сказал:

— Господа, я не знаю, какой новый каприз барышни Гюс заставил ее навязывать вам мое неподходящее общество, но поверьте, что это произошло помимо меня. Я постараюсь отговорить Адель от этой никчемной, да и тягостной для меня прихоти.

Должно быть, в моем тоне было что-то располагающее, так как Голицын сейчас же подошел ко мне, протянул мне руку и, крепко пожимая ее, сказал:

— Общество дворянина не может быть тягостным для прочих дворян. Я буду очень рад, если вы не станете сопротивляться желанию барышни Гюс и разделите сегодня нашу компанию!

Вслед за Голицыным ко мне подошли и все остальные и тоже пожали мне руку. Могу прибавить, что впоследствии меня все в этом обществе полюбили. Конечно, были и недоразумения, но о них в свое время!

На протяжении четвертого и пятого актов успех Адели не стал большим только потому, что это было уже невозможно. Но и с достигнутого во втором акте апогея он не сходил, так что все представление превратилось в сплошной триумф юной дебютантки.

Успех Адели был ясно подчеркнут и тем, что актрисы, бывшие очень любезными и благожелательными на репетициях, теперь сразу встали в холодно-враждебную позицию к ней. По крайней мере на предложение Адели принять участие в предложенном театрами ужине большинство актрис со змеиной иронией и низкими приседаниями ответило, что «где уж им, бездарностям, наслаждаться обществом такой гениальной актрисы!»

Это влило некоторую горечь в радость успеха: впереди предстояла борьба с закулисными интригами, сгубившими уже не один талант.

Но отказались далеко не все. Добродушная Дюмонкур; легкомысленная, веселая женщина-мальчишка Фаншюн; кокетливая ла Люцци, по прозвищу Кошечка; сентиментальная, бело-розовая, словно фарфоровая куколка, вечно страдающая от сердечных ран д'Олиньи — все они с радостью согласились отправиться вместе с Алелью: они были

независтливыми потому, что их положение как в театре, так и в веселящемся обществе было достаточно прочно.

Ужин удался на славу. Решено было чем-нибудь отметить этот знаменательный день. Мужчины сложились и командировали повесу Жевра, сына парижского коменданта, за подарками для дам. Жевр за шиворот вытащил знакомого ювелира из постели, заставил его открыть лавочку и выбрал по изящному колечку для всех дам, кроме Адели, которой он привез большой серебряный бокал, куда сейчас же стали бросать золотые монеты.

Когда бокал наполнился до краев, его торжественно поднесли Адели.

В наполнении бокала особенно постарался князь Голицын, который опорожнил туда добрую пригоршню луидоров. Правда, среди золота на другой день попало также несколько серебряных монет, но это уж, наверное, было делом рук герцога де Ливри: старик был очень богат, но страшно скуп; его поставщики вечно жаловались на недобросовестное оттягивание их грошей при расплате.

Ну, да что было говорить о каких-нибудь пяти серебряных монетах, когда Адели поднесли золотом маленькое состояние!

Так завершилось первое выступление Аделаиды Гюс на театральных подмостках, так закончился период формирования блатного образа молодого человека. Отныне

формирования оутона этого могильного цветка. Отныне бутон будет все пышнее и пышнее разворачиваться в прекрасный, благоухающий, но — увы! — ядовитый цветок, которому удастся долее обыкновенного продержаться в роскоши полного расцвета, пока его лепестки, под внезапным порывом холодного ветра судьбы, не сморщатся и не развеются по пустынным и мрачным полям забвения!

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

I

Адель заснула никому неведомой девчонкой-замарашкой, а проснулась знаменитой талантливой актрисой. А в те времена — да думается мне, что и долго так будет, — слово «актриса» в переводе на общепонятный язык значило «общественное достояние». Еще актерам иной раз удавалось занять независимое, уважаемое положение в обществе: например, знаменитый балетмейстер Вестрис был принят как равный в лучших аристократических домах. Но актриса всегда оставалась «рабыней веселья», существом низшего порядка. Правда, и актриса могла играть большую роль и оказывать влияние на ход государственных дел, но это влияние исходило не от внутренних ее достоинств, а от чисто внешних

внутренних ее достоинств, а от чисто внешних. повелевала не актриса, а красивая женщина. А ведь на самом-то деле мир столь многим обязан деятелям сцены, что актеры и актрисы должны бы быть окружены всеобщим почтением: разве не со сцены общество воспринимало и воспринимает те идеи, которые более всего способствуют его облагораживанию, двигают вперед к идеалам добра? Но, видно, что-то роковое заложено в самой природе сценических деятелей, если даже революция, вызвавшая полную переоценку прежних взглядов и взаимоотношений, не коснулась подмостков, не внесла ничего нового в отношение общества к актерам.

Да, теперь Адель стала общественным достоянием, и это сказалось уже на следующее утро после ее дебюта.

Мы, то есть Роза, Адель и я (я стал в последнее время частенько манкировать службой), сидели в будуаре новоявленной знаменитости и занимались подсчетом вырученных (вернее – подаренных) вчера денег, которые надлежало занести в графу прихода. Это была первая приходная статья, до сих пор фигурировали одни только статьи расхода.

В середине этого приятного занятия в будуар вошла Мари и доложила, что его светлость, герцог де Ливри, желает видеть барышню.

– Попроси подождать, – ответила Адель, – я не одета... Впрочем, стой, скажи, что я сейчас: очень

надо стесняться с этой старой развалиной!

Накинув на полуобнаженные плечи шаль, Адель вышла из будуара в гостиную. Она неплотно притворила дверь, и с моего места можно было видеть все, что делалось там. Старуха Роза воспользовалась свободной минуткой и ушла хлопотать по хозяйству. Таким образом я мог на свободе заняться наблюдениями.

Герцог явился с огромным букетом цветов: эта любезность ему ничего не стоила, так как у него были собственные цветники и оранжереи. При появлении Адели он хотел было что-то сказать, но вид девушки в откровенном утреннем «неплиже» произвел на старого сластолюбца такое потрясающее впечатление, что де Ливри только открывал и закрывал рот, не будучи в силах сказать что-либо связное и разумное.

— Ах, как вы милы, герцог! — весело сказала Адель, принимая из рук растаявшего старца цветы. — Простите, что я выхожу к вам в таком растрепанном виде, но мне не хотелось заставлять вас ждать; да и мне кажется, что с вами-то я могу не стесняться!

— О, помилуйте! О каких стеснениях может быть речь! — обрел наконец де Ливри дар слова. — Наоборот, совсем наоборот! Ваша милая беззастенчивость дает мне повод прямо приступить к цели своего визита. Но позвольте мне присесть, дорогое дитя мое, и сядьте сами!

Они уселись.

Де Ливри подумал минутку, как бы собираясь с мыслями, и затем продолжал:

— Я отлично понимаю, что как мужчина я представляю очень мало интереса...

— О, ровно никакого! — беззаботно согласилась Адель.

— Вы откровенны, как ангел! — с довольно-таки кислой улыбкой заметил герцог и продолжал: — Конечно, опытная, зрелая женщина поняла бы, что это отнюдь не может быть препятствием для чего бы то ни было, потому что я — светский человек, располагающий весьма и весьма крупными связями, а это право же...

— К делу, герцог! — холодно оборвала его Адель, — все эти рассуждения я уже давно знаю!

Ливри сразу поперхнулся, замялся и, видимо, не знал, как подхватить прерванную нить: Адель своим пренебрежительным хладнокровием выбила его из колеи.

— Хорошо, — сказал он наконец, — я прямо перейду к цели своего визита. Видите ли, я уже не в тех годах, когда женщина является для мужчины предметом страстных грез, как бы она хороша ни была. Разумеется, из суетного тщеславия...

— Еще раз: к делу, герцог! — прежним тоном заметила Адель.

— Но позвольте, обожаемая, — с отчаянием крикнул Ливри — не могу же я так просто приступить к тонкой

цели своего визита. Прежде всего я хотел бы знать, не слушает ли нас кто-нибудь...

— Ровно никто! К делу, герцог, к делу! — нетерпеливо повторяла Адель.

— Да, но то, что я собираюсь сказать вам, настолько тонко и важно, что мне хотелось бы иметь известную уверенность, что...

— Вот что, герцог, — решительно заявила Адель, — я еще раз говорю вам, что нас никто не слушает. Если же вам мало моего слова, то можете изъяснять цель своего визита вот этим самым креслам, а я уйду, чтобы привести себя в приличный вид. Ведь ко мне может прийти кто-нибудь поинтереснее вас, кого я не решусь принять в таком виде. Итак, начнете вы или нет? Нет? До свиданья!

— Боже мой, что за характер, что за ужасный характер! — простонал Ливри. — Да сядьте же, обожаемая, сядьте и выслушайте спокойно! Постараюсь быть кратким, насколько возможно. Хотите занять самое высшее положение, какое только снилось французской женщине?

— Хочу, — лаконически ответила Адель.

— А вы отдаете себе отчет, какое положение может быть высшим для женщины?

— Мне кажется... — начала было Адель, но вдруг по ее лицу мелькнуло что-то вроде испуга; только теперь

она поняла, куда клонит герцог.

Она встала, тщательно закрыла двери со всех сторон, и ее дальнейший разговор с Ливри происходил уже с соблюдением полнейшей тайны. Впрочем, для меня-то сущность их разговора не была тайной: будучи в курсе политических конъюнктур версальского двора и зная роль и характер Ливри, я с первых его слов понял, какую низость подразумевает он под «высшим» положением.

Вам может показаться странным, что я, маленький нотариальный клерк, с апломбом говорю о знании «политических конъюнктур» внутренней жизни двора. Но не забудьте, что все описываемое мною происходило на пороге великой революции, когда в народе чувствовалось особенно напряженное любопытство ко всем внутренним событиям двора. Трудно сказать, как удовлетворялось это любопытство: вернее всего, тут происходило то же самое, что бывает в отношениях знатных господ к прислуге. Ведь господа не стесняются показываться прислуге в самом откровенном беспорядке костюма. Разве прислуга – человек? Так чего же перед нею стесняться! Вот народ и был такой же прислугой для придворных верхов того времени. И многое, что могли не знать высшие чины двора, с злорадством комментировалось в самых низкопробных кабачках Парижа.

Кроме того, именно мое положение нотариального

клерка обеспечивало мне широкую осведомленность обо многих интимных сторонах жизни знати. В описываемую мною эпоху высшее дворянство было почти поголовно разорено, пробавлялось исключительно королевскими подачками и вечно обращалось с займами к богатой буржуазии. Последняя знала, что с дворянчиков в сущности «взятки гладки», но в деньгах все-таки не отказывала: если и не получишь обратно долга, зато можно добиться от должника какой-нибудь синекуры, поставки, хлебной должности, а то и лестного отличия — до возведения в дворянское звание включительно. Поэтому богатые буржуа, прежде чем дать просимую ссуду, обыкновенно обращались к своему нотариусу за справками. Это обязывало нотариуса быть постоянно в курсе придворных интриг, чтобы знать, прочно ли положение такого-то и, наоборот, действительно ли близко падение такого-то.

В сущности, в то время центром всей этой придворной борьбы была личность маркизы де Помпадур. Французская история богата именами влиятельных фавориток, но такой, как маркиза, не было ни до нее, ни после. Обыкновенно власть и влияние фаворитки кончались с прекращением ее женского обаяния. А Помпадур уже давно была самым наиплатоничнейшим другом короля, тем не менее все попытки подорвать ее власть неизменно терпели крах. Главной причиной этого была поразительная

гибкость характера маркизы — гибкость, доходившая до полного отсутствия женского самолюбия и чести^[5]. Заметив, что король пресытился ее прелестями, маркиза стала выискивать и поставлять ему других, более юных красавиц. Если она замечала, что новая симпатия короля грозит пустить глубокие корни, «заместительница» немедленно устранялась добром или насилием, причем в ход пускались и клевета, и кинжал, и яд. Король ничего не жалел для такого незаменимого «друга», и потому положение маркизы оставалось прочным даже тогда, когда другим королевским фавориткам приходилось сходить со сцены.

Герцог де Ливри был одним из ожесточенных врагов маркизы де Помпадур. У них были старые счеты: маркиза когда-то больно ударила герцога по самой слабой стороне его характера — тщеславию. С тех пор Ливри вел беспощадную войну с фавориткой и искал только случая подставить ей ножку. Еще недавно он сумел поселить в душе короля тень сомнения и недоверия к маркизе, тонко намекнув на то, что все красавицы, пришедшиеся королю по нраву, непременно плохо кончали. Теперь, пользуясь наступившим охлаждением короля, охлаждением, которое, как он знал, долго не продержится, Ливри хотел подсунуть Людовику такую женщину, которая могла бы окончательно парализовать и уничтожить влияние

Помпадур.

В этом для него было не только удовлетворение жажды мести, но и дань тщеславию, которое, как я уже упоминал, преобладало в характере старика.

Несмотря на то, что, широко пожив в юности, Ливри уже добрых пятнадцать лет восхищался женщинами совершенно платонически, несмотря на то, что он был очень скуп, он продолжал бегать за выплывавшими на полусветское небо Парижа звездами и иной раз щедро одаривал их: ему нужно было, чтобы говорили, будто «Ливри опять победил такую-то!». Благодаря Адели герцог рассчитывал занять при Людовике особо привилегированное положение, так как она казалась ему вполне подходящей по своим нравственным и физическим качествам, чтобы глубоко заинтересовать сластолюбивого короля.

Вот об условиях, на которых Адели будет оказана широкая помощь для достижения «почетного» положения королевской фаворитки, и беседовали они при тщательно закрытых дверях.

Их разговор затянулся на целый час; расстались они вполне довольными друг другом.

II

Не успел Ливри уйти, как один за другим потянулись новые визитеры. Теперь Адели пришлось

уже одеться, так как не всех же можно было принимать в таком виде, как Ливри.

И кого-кого только не перебывало в этот день у Адели! Надменный аристократ низко кланялся этой уличной девчонке и в изысканных фразах говорил о том, что готов был бы все, что имеет, сложить к ногам красавицы. Драматург с подобострастной услужливостью преподносил перевязанный розовой ленточкой экземпляр своей трагедии, которой «не сможет не оценить такая выдающаяся артистка». Художник домогался чести осчастливить мир портретом Аделаиды Гюс. Видный коммерсант с грубостью истинного денежного мешка спрашивал, что будет стоить благосклонность барышни, если ее монополизировать, и сколько в том случае, если он будет смотреть сквозь пальцы на ее шалости. Худой, скользкий, бледный иезуит убеждал Адель, что с такой наружностью, какую послал ей Господь, она может деятельно послужить «к вящей славе Божией» (как ее понимают господа иезуиты, разумеется!). Ученый-энциклопедист доказывал, что Адель как дитя народа должна отдать этому народу все свои силы, причем чувствовалось, что это служение легче всего осуществить в прочном союзе с ним, ученым. Словом — чем бы ни прикрывались визитеры, каким бы флагом ни прикрывались их речи, а основным мотивом их визита все-таки оставалась жажда обладания Аделью как

ее так оставалась жалея обладания Аделью, как красивой женщиной, основанная на непреложности житейского афоризма, гласящего, что служение драматическому искусству равносильно для женщины полной общедоступности.

Из всех визитеров этого дня мне с особенной яркостью помнится князь Голицын. Он тоже явился с букетом цветов. Правда, его букет был меньше букета де Ливри, но зато стебли цветов охватывал массивный золотой браслет, осыпанный крупными рубинами. Если бы Адель была более чуткой, ее тронула бы эта чисто рыцарская манера преподносить ценные подарки. Но она была хищницей по натуре, да и перспективы, открывшиеся ей из разговора с де Ливри, слишком вскружили ей голову. Поэтому, когда Голицын с чарующей прямоотой спросил ее: «Я пришел спросить вас, могли бы вы полюбить меня?» — она ответила, небрежно играя кистями диванной подушки:

— Друг мой, это — странный вопрос. Я должна сначала знать, что вы можете дать мне за мою любовь!

— Себя! — пылко воскликнул Голицын. — Всего себя, вместе с безграничным обожанием и преклонением перед вашей чарующей божественной красотой!

— Ну, с таким скромным даром вам лучше бы обратиться к какой-нибудь мещаночке, которая сидит и ждет, пока за ней придет сказочный принц^[6], — с пренебрежительной улыбкой кинула Адель. — Нет,

милейший князь, я держусь того мнения, что у мужчины должен быть более ценный балласт, чем одна только красивая наружность!

— Ну, тогда об этом нечего больше и говорить, — решительно ответил Голицын. — Видите ли, сударыня, тот ценный балласт, о котором вы упомянули, имеется у меня в таком количестве, какого сейчас, пожалуй, не найдется даже у самого христианнейшего короля Людовика XV. Я очень богат, но мне кажется, что меня можно бы любить и бескорыстно. Я достаточно молод для этого!

— Ну, вот видите, милый князь, как мы сходимся с вами во взглядах! — с беззаботной улыбкой возразила Адель. — Вы находите, что вы достаточно молоды и привлекательны для того, чтобы вас могли любить даром, а я нахожу, что я достаточно молода и привлекательна для того, чтобы могла любить не даром. Придется нам с вами подождать, пока или я постарею до бескорыстной любви, или вы постареете до любви корыстной!

— Ну, что же, подождем! — ответил Голицын, вставая и прощаясь с Аделью.

После его ухода Адель отстегнула браслет от стеблей роз, принесла его в будуар, примерила, с некоторым сожалением сняла и положила на стол, где уже была груда подарков всякого рода.

Помолчав немного, она сказала:

— Насколько мне кажется, «проклятая» сделала весьма недурное дело!

III

Я приближаюсь в рассказе к тому кардинальному пункту, которому суждено было стать поворотной точкой во всей моей дальнейшей судьбе. Как знать, не подвернись Адели услужливый де Ливри и не привлеки Адель вместе с интересом сильнейшего мира сего опасения его сильнейшей подруги, она не так скоро рассталась бы с Францией, а я в течение этого времени сумел бы справиться со своей губительной страстью, полюбил бы более достойную женщину и...

Но что говорить о том, что было бы возможным, раз в действительности эта возможность потерпела полное крушение!

Но, как часто бывает на свете, именно об этом важном периоде я знаю меньше всего. Вся совокупность причин разыгрывалась, так сказать, за «кулисами» моей жизни, причем и я, и Адель, по непонятной стыдливости, избегали много говорить друг с другом о том времени. Поэтому могу передать вам о всем случившемся лишь в кратком пересказе.

План, детально разработанный хитрым де Ливри, был осуществлен во всех подробностях. Король побывал

с герцогом инжениры в театре, по окончании представления во дворце герцога был устроен веселый ужин на три прибора, где король имел возможность поближе разглядеть Адель. Она произвела на августейшего селадона неотразимое впечатление, и на следующий вечер карета доставила юную сирену в Охотничий павильон — небольшой домик Оленьего парка (в Версале), где неизменно происходили свидания короля с понравившимися ему женщинами.

Таким образом все шло сообразно с предположениями герцога. Однако он не знал, может быть, самого важного: того, что маркиза де Помпадур, имевшая в своем распоряжении целую армию искусных шпионов, была с самого начала осведомлена о затеянной интриге и уже предприняла свои шаги, чтобы парализовать попытки врагов. Для этого она пустила в ход очень верное и совершенно новое оружие.

Но в том-то и была сила маркизы де Помпадур, что она никогда не пользовалась одним и тем же оружием, а всегда считалась с индивидуальной особенностью личности или положения соперницы. Всякое насилие над такой популярной актрисой, какой стала Адель, могло обратиться против самой же маркизы; контринтриги или клеветы было недостаточно. Надо было придумать что-нибудь новое, и это новое было пущено в ход уже на другой день после того, как Адель побывала в Охотничьем павильоне.

Мне пришлось первому узнать о затеянной маркизой интриге, и вот как это случилось.

Был дивный весенний вечер. Весь день я был сам не свой, еле сидел в конторе, не будучи в состоянии сосредоточиться на деловых бумагах и отогнать от себя соблазнительный образ Адели, переполнявший мою душу бесконечным отчаянием безнадежной страсти. По мере того, как приближался вечер, эта тоска все возрастала; она достигла своего апогея в тот момент, когда Адель с иронической улыбкой вышла из дома, чтобы отправиться на свидание к венценосному покровителю. И когда я слышал стук колес отъезжавшей кареты, я почувствовал, что в данный момент способен на все, что долее я не могу так жить, что лучше самая бесславная смерть, чем это вечное сгорание на медленном огне...

Я схватил шляпу и, словно безумный, выбежал на улицу. Теплый, влажный воздух был напоен ароматами распускающейся зелени, и пряная волна бесслезной судорогой сжимала сердце. На каждом шагу попадались парочки, стыдливо жавшиеся в тени; из благоуханной тьмы садов доносились ласковый шепот, нервный, стыдливый смех и звуки поцелуев. Весна справляла свой пышный пир, вся природа праздновала великое торжество таинства возрождения, и только я один скитался, словно отверженный дух в безумии тоскливого одиночества.

Я бежал по улицам, не отдавая себе отчета, куда и зачем бегу. Не знаю, сколько времени носился я таким образом по городу. Наконец я очутился на каком-то мосту. Силы сразу оставили меня; я в изнеможении облокотился на парапет и с безумным отчаянием всматривался в мрачно журчащие темные воды вспухшей Сены.

Безумной скачкой проносились в голове клочки воспоминаний. Детство, милый Лориен, дядя-аббат... Париж, тихая жизнь, Сесиль, падение... Маленькая капризная девочка, ставшая вампиром моей души... Но ведь я люблю ее, эту холодную, разнузданную эгоистку, я жить не могу без нее! Но жизнь ли — то, что дано мне судьбой в настоящем? Вечно гореть, вечно стремиться, никогда не достигать, видеть, как на каждом шагу это стремление опозоривается, подвергается плумлению и надругательствам...

И вдруг мой мозг кровавым факелом осветила внезапная мысль:

«Если жизни нет, зачем довольствоваться суррогатом; если будущего нет, зачем без протеста отдаваться этому томлению?»

Не успела эта мысль сверкнуть во мне, как темные воды бурливой Сены показались мне таким избавлением, таким отрадным убежищем, что, не рассуждая далее, я пригнулся, собираясь одним скачком в воду положить предел своим сомнениям

в воду положить предел своим сомнениям.

Но в этот момент чья-то сильная рука вдруг властно легла на мое плечо, и знакомый звучный голос иронически сказал:

— Друг мой, считаю долгом обратить ваше внимание, что вода довольно холодна и можно схватить насморк!

Это неожиданное противодействие вызвало во мне сильную реакцию, и минутное возбуждение вдруг сменилось таким упадком сил, что я, словно связка мокрого белья, съехал на землю и затрясся в истерических рыданиях. Словно в тумане я видел, как ко мне склонилось встревоженное лицо князя Голицына, который взволнованно заговорил:

— Боже мой, да ведь это — вы, месье Лебеф! Что же случилось? В чем дело? Да успокойтесь, Бога ради! Ну, будьте мужчиной!

— Зачем, зачем вы помещали мне? — рыдал я. — Поймите, что смерть — благо в сравнении с той жизнью, которую я веду! Мне жить нечем, сердце по кусочкам разорвано, в душе живого места нет от вечных ран... Оставьте меня, дайте мне возможность умереть, и вы сделаете величайшее благодеяние!

— Полно, полно, милый друг! — возразил князь, бережно поднимая меня с земли. — В нашем с вами возрасте еще не бывает таких ран, которые не могли бы зажить. Зачем пускаться на непоправимый шаг?

Покончить с собой вы всегда успеете, это от вас не уйдет. Но сначала надо попытаться дать отпор злой судьбе. Что за нелепость! Сдаваться, не поборовшись как следует! Оправьтесь-ка, друг мой, и пойдем со мной в ближайший кабачок, где за стаканом вина мы можем поговорить о вашем горе. Быть может, я сумею пригодиться вам... Ну, ну, овладейте собою! Не бойтесь, опирайтесь сильнее на меня! Вот так! Ну, вперед, друг мой! Раз, два...

Около моста был кабачок «Серебряной Розы». Князь привел меня туда, усадил в укромном уголке, потребовал вина и, когда я несколько оправился, ласково расспросил меня обо всем.

Я был слишком слаб, чтобы долго сопротивляться его желанию, и откровенно рассказал ему всю историю своих отношений с Аделью, всю трагедию моей злосчастной любви.

— Теперь вы видите сами, — закончил я, — что мне лучше умереть. Ведь вся беда в том, что моя воля сломлена навсегда. Другой на моем месте уехал бы из Парижа или по крайней мере переехал бы в другой конец города, а я сделать этого не могу. Но постоянно жить в такой близости и быть таким далеким, вечно видеть перед собой счастливых соперников, быть безвольной игрушкой в руках бессердечной кокетки... Нет, нет! Лучше умереть!

— Ну, а если бы она уехала, из Парижа, могли ли бы

вы сбросить с себя ее гнет? — спросил Голицын.

— Мне кажется, да, — ответил я. — Конечно, на первых порах было бы тяжело, но...

— Ну, вот видите! — воскликнул князь, — значит, я был прав, когда говорил, что вам рано отчаиваться! Успокойтесь, милый мой, ваша Адель уедет, скоро уедет из Парижа!

— Но куда же? — с удивлением спросил я. — И как можете вы знать об этом?

— Собственно говоря, — несколько нерешительно ответил Голицын, — собственно говоря, это составляет... до некоторой степени... государственную тайну. Ну, да все равно: завтра-послезавтра об этом уже будет известно всем, так что если вы узнаете днем раньше, то большой беды не будет. Дело в следующем. Маркиза де Помпадур с самого начала интриги барышни Гюс с королем следила за ними. Гюс слишком опасна, маркизе надо было во что бы то ни стало отстранить соперницу. Вот она и решила устроить ей принудительный ангажемент где-нибудь далеко за границей. Для этого она воспользовалась тем затруднительным положением, в котором оказалась моя всемилостивейшая повелительница императрица Екатерина. Беспорядки прошлых царствований разорили русскую казну, ослабили военную мощь моей родины. Вступив на трон, императрица увидала, что с севера ей грозят шведы, с запада поляки велют себя более чем

вызывающе, с юга турки собираются напасть на Украину. Мне было поручено укрепить нашу дружбу с Францией, так как Россия должна быть гарантирована союзами с великими державами, дабы можно было заняться поднятием внутренней мощи и благосостояния страны. Вам, конечно, известно, что вся внешняя политика вашей страны находится исключительно в руках маркизы де Помпадур. Маркиза обещала мне полную дружбу и помощь Франции, если я устрою приглашение Аделаиды Гюс в Петербург. Мне это было не трудно сделать: императрица уполномочила меня пригласить в Россию несколько талантливых актеров и актрис. Наш договор был заключен – не сегодня завтра Гюс подпишет контракт и уедет в Петербург!

– Но она может и не согласиться! – сказал я, пораженный услышанным. – Здесь у нее имеются слишком значительные интересы!

– Э, полно, друг мой, – возразил мне Голицын, – с такими особами, как маркиза, борьба невозможна! Гюс достаточно умна и поймет, что уехать в ее интересах. А если она все-таки заупрямится... боюсь, милый мой, что тогда ее песенка окончательно спета!

Мы еще долго проговорили с Голицыным. Я вернулся домой значительно успокоенным: весть о скором отъезде Адели непонятным образом сняла громадную тяжесть с моей опечаленной души!

На другой день, возвращаясь из конторы, я шел к себе в комнату, насвистывая какую-то бравурную арию. Вдруг в коридор выкатилась квадратная фигура мамыши Гюс и с комическим испугом замахала на меня руками.

— Да что вы, о двух головах, что ли, месье Гаспар! — зашептала она. — С каким шумом идете! И это после вчерашнего-то!

— Разве что-нибудь случилось? — испуганно спросил я.

— Ах да, ведь вас вчера не было! — ответила она. — Уж не знаю, что случилось, только вчера наша принцесса Трапезундская вернулась из Версаля не солоно хлебавши. Как я поняла, король даже видеть ее не пожелал... Уж не знаю, сама ли она тут виновата, или враги ей ножку подставили, только приехала она темнее тучи, отхлестала бедную Мари по щекам, в меня пустила стаканом, и такое тут у нас представление вышло, что хоть святых вон выноси! Я полночи прислушивалась, как она, словно тигрица в клетке, по своей комнате расхаживала; под утро она наконец успокоилась, улеглась... Недавно вскочила и отправила Мари с письмом к герцогу де Ливри. Попробуй-ка, посвисти тут около нее! Она тут такого пропишет, что не обрадуешься! Я-то рада, что она опять прилегла и

притихла, по крайней мере...

Тут дверь на половину Адели открылась, и показалась ее нечесаная рыжеватая головка.

— Это ты, Мари? — спросила она. — Ах, братишка пришел! Поди ко мне, Гаспар, мне надо серьезно поговорить с тобой!

Я направился к ней: движимая любопытством мамаша хотела последовать за мной, но Адель так и напустилась на нее, злобно крикнув:

— Ты-то чего лезешь? Я тебя разве звала?

— Ну вот! — обиженно возразила Роза. — Я тебе мать или нет!

Адель распахнула дверь и, даже не давая себе труда удержать на груди мятую ночную кофточку, со сжатыми кулаками напустилась на старуху.

— Ты мне мать на то, чтобы отбирать мои деньги и подарки! — бешено закричала она, — а больше тебе ни до чего дела нет! Слышала? Ну и убирайся ко всем чертям, проклятая!

Чтобы помешать этой дикой сцене разыграться в новую ссору, я поспешно отстранил старуху, прошел за Аделью в ее будуар и притворил за собой дверь.

Адель кинулась в кресло, заплакала, покусывая свои тоненькие пальчики, и затем сказала:

— И понимаешь — главное, что эта старая обезьяна Ливри даже не торопится прийти теперь на мой зов!

— Ровно ничего не понимаю! — отозвался я.

пожимая плечами. — Сестренка, да ведь ты с конца рассказываешь! Не начать ли тебе с начала?

— Ах да, ведь тебя вчера не было! Ну, да если я даже по порядку все тебе расскажу, едва ли ты что-нибудь поймешь! — сказала Адель, нервно разрывая зубами тоненький батистовый платок. — Вот послушай, что со мной вчера случилось!

Оказалось, что вчера, когда Адель по обыкновению ехала в Версаль на условленное свидание с королем, около Сэн-Клу карету остановил небольшой эскорт всадников, предводитель которых с галантным поклоном попросил «la tres honoree et estimable dame»^[7] уделить ему одну минуту внимания.

Удивленная Адель пожала плечами и спросила, в чем дело.

Тогда кавалер сказал ей:

— Моя госпожа, tres haute et tres puissante Dame, duchesse marquise de Pompadour^[8], поручила мне передать вам следующее. Пользуясь своей привлекательной наружностью, вы вздумали играть на руку врагам маркизы и интриговать против ее влияния, которым она пользуется по праву и по совести для славы Франции. Понимая, что вы явились в данном случае простой игрушкой в чужих руках, и уважая ваш выдающийся талант, маркиза не хочет принимать против вас решительных мер. Но она ждет, чтобы за это вы

склонились перед необходимостью, отказались от попыток видеть короля и покорно приняли предложение, которое в скором времени будет сделано вам от имени посла иностранной державы. Если вы разумно внимаете этому дружескому увещанию, то будете отпущены с почетом и богатым подарком. Но при малейшей попытке к сопротивлению воле моей госпожи вас ждут такие неприятности, которые испортят вам всю дальнейшую жизнь, если только последняя будет оставлена вам!

Как ни растерялась Адель от этого неожиданного реприманда, она нашла в себе достаточно присутствия духа и такта, чтобы ответить, что, даже не помышляя о сопротивлении воле такой могущественной и досточтимой госпожи, она все же не может отказаться в данный момент от намерения продолжать свой путь, потому что такова воля короля, чтобы она, Гюс, явилась сегодня в условленный час и место, а подчинение королевской воле для верноподданного является высшим долгом, заставляющим забывать о каких-либо личных выгодах или опасностях.

В ответ кавалер снял шляпу, низко поклонился и заметил, что хотя сегодня попытка Адели свидеться с королем и будет бесполезной, но, уважая справедливость ее довода, он не будет чинить ей препятствия и только вынужден будет эскортировать ее, чтобы предохранить его величество от попытки Адели

повидаться с королем против его воли.

Действительно, Адели не пришлось увидеть короля. Один из помощников старшего камердинера короля, Лабрус, взволнованно рассказал Адели, что его величество опасно занемог, что призванный врач не нашел в этом заболевании никаких физических причин, объяснив его нездоровым влиянием, которое флюидически оказала на короля особа, более всего «занимающая мысли его величества в данное время». Разумеется, Адель сразу поняла, что все это заболевание является следствием планомерной контринтриги маркизы, но что же было делать?

Пришлось уехать домой ни с чем!

— Но ты можешь себе представить, братишка, — взволнованно закончила Адель, — в каком угнетенном состоянии я нахожусь теперь! Подумать только: все шло так хорошо, король все более пленялся мною, становился мягким воском в моих руках, и в тот момент, когда я была уже в двух шагах от головокружительной высоты, мне вдруг говорят: «Пожалуйста обратно вниз»! Но я не подчинюсь, ни за что не подчинюсь! — истерически крикнула девушка. — Уж мы с Ливри что-нибудь придумаем, мы свяжем по рукам и ногам эту пронырливую интриганку! Да вот не идет эта старая обезьяна, хоть я и просила его сейчас же приехать ко мне. А без Ливри ни один человек в мире не может объяснить мне, в чем тут дело и что это за предложение

объяснить мне, в чем тут дело и что это за предложение, о котором говорил посланный маркизы!

— Ну, что касается последнего, то тут я могу дать тебе все необходимые разъяснения, — ответил я.

— Ты? — с недоверчивым удивлением отозвалась Адель. — Да что можешь знать об этом ты?

— Я видел вчера вечером Голицына, Адель! — сказал я. — Он рассказал мне, что маркиза обусловила дружественную помощь Франции русской императрице Екатерине приглашением тебя на службу в Петербург. Не сегодня завтра князь принесет тебе официальное приглашение от петербургского двора и контракт.

— Ах, вот оно что! — вне себя от бешенства крикнула девушка. — Ну, так дудки, этот фокус со мной не удастся! Я не позволю играть собой, не уеду в страну белых медведей! Поборемся еще! Ливри пользуется неограниченным доверием короля; посмотрим, как отнесется его величество к недостойной проделке этой гадины маркизы! Уж Ливри найдет средство, поверь!

Появление горничной Мари было словно providенциальным ответом на выраженную уверенность Адели.

Запыхавшаяся от быстрой ходьбы Мари взволнованно затараторила:

— Барыня, несчастье-то какое! Ведь нашего-то герцога сегодня отправили в ссылку в нормандские поместья!

— Как? — дико крикнула Адель. — Не может быть! Но за что?

— Вот потому я и задержалась, барышня, что хотела узнать, в чем тут дело, — ответила бойкая камеристка. — Никто ничего толком не знает, хотя прислуга и говорит, что герцога обвинили в злоумышлении на жизнь и здоровье его величества и, только принимая во внимание его возраст и прошлые заслуги, не отправили в Бастилию, а сослали на безвыездное жительство в Нормандию.

— Уйдите все! — простонала Адель, с рыданием кидаясь обратно в кресло, с которого она вскочила при ошеломляющем известии, принесенном горничной.

Я ушел к себе в комнату и долго ходил взад и вперед. Внутри у меня происходила сложная борьба чувств. Я и радовался своему освобождению, и боялся его. Мне казалось диким и невозможным даже подумать, что я буду жить вдали от Адели. И все же на душе у меня было несравненно покойнее и легче, чем, например, вчера, когда я в диком неистовстве носился по городу.

V

Адель была достаточно умна и рассудительна, чтобы примириться с создавшимся положением. Правда, ее самолюбие сильно страдало, но она сознавала, что самолюбию будет нанесен еще более чувствительный

удар, если она рискнет вступить в открытую борьбу с маркизой и потерпит в ней решительное поражение. Конечно, эта борьба была возможна; у маркизы было достаточно врагов, и каждый из них с удовольствием помог бы Адели увидаться с королем, чтобы попытаться разорвать сеть сплетенной вокруг них интриги. Но будет ли какой-нибудь результат от этого? От маркизы с ее дьявольской осведомленностью не удастся скрыть это свидание, а она уже доказала, насколько ее ум изобретателен в средствах отпора. И ведь мало того, что сам исход борьбы сомнителен, даже и результат победы далеко не ясен. На что сильны влияние и власть маркизы, и то ей приходится все время ограждать себя от интриг врагов. Может ли она, Адель, рассчитывать, что с равным успехом отразит все попытки придворных вытеснить из сердца короля новую возлюбленную, чтобы навязать ему другую фаворитку?

Так ради чего же ей рисковать! Она еще молода, только что вступила в жизнь, которая широко раскрыта перед ней. Нет, лучше уж сделать веселое лицо при грустной игре и попытаться как можно лучше использовать те шансы, которые предоставляются ей теперь.

Немалую роль в этом благоразумном решении сыграли рассказы старухи Гюс. Как уже знает читатель, Роза в свое время достаточно пошаталась по белу свету и некоторое время жила в России по времена покойной

и похитерское время жила в России по времени похищения императрицы Елизаветы. По словам Розы, нигде в мире не ценят так женщину, как в этой полудикой стране. Правда, при царящей там грубости нравов нечего и ждать от русского барина такого рыцарского уважения к женщине, каким отличаются французы. Русские разнузданы в своих страстях и способны из-за каждого пустяка пустить в ход кулак или плетку. Зато ни один жантильом в мире неспособен с такой широтой и размахом опрокинуть над головой избранницы рог изобилия всяческих щедрот. К тому же и богаты эти русские, просто дух захватывает! В два-три года разумная женщина может составить там целое состояние!

Хотя все эти рассказы и дали Аделишний повод язвительно вышутить мать: «Она-де, видно, не отличалась и смолodu разумностью, потому что состояния себе там не составила», но они все-таки произвели свое впечатление. Поэтому, когда Голицын явился к девушке с официальным предложением поступить во французскую труппу «Императорского Эрмитажа» в Петербурге, Адель ответила, что в принципе она согласна, но только просит оставить ей дня на два проект контракта, чтобы она могла основательно ознакомиться с его пунктами и взвесить их выгоду.

Голицын был у Адели утром, когда я находился в

конторе. Не успел я вернуться домой, как веселый голосок Адели уже звал меня к ней в будуар, где они с мамашей Гюс тщетно пытались разобраться в бумаге, написанной малознакомым женщинам сухим юридическим языком. Всевозможные «онные» и «вышеупомянутые» приводили девушку в полное отчаяние и совершенно сбивали с толка.

Я быстро растолковал ей все непонятные пункты и указал, что контракт составлен очень благоприятно, предоставляя ангажируемой большие преимущества по сравнению с ангажирующей стороной. Уходя, я обернулся в дверях и сказал:

– Советую тебе, Адель, основательно ознакомиться со всеми этими деловыми выражениями. Ведь ты, наверное, блестящим метеором пронесешься по всем крупным европейским сценам, а ведь рядом с тобой может и не оказаться человека, который добросовестно и бескорыстно поможет тебе разобраться в юридическом лабиринте контрактов!

– Ну вот, а ты? – с удивлением кинула девушка.

– Но ведь я-то остаюсь здесь! – с грустной улыбкой возразил я.

– Ах, черт возьми, да ведь это у меня совсем из головы вон! – растерянно пробормотала девушка и тотчас прибавила: – А знаешь, мать, ведь нам с тобой без братишки будет совсем плохо!

Мать ответила ей многозначительным взглядом и

щепнула ей что-то, от чего Адель громко фыркнула. Уходя, я слышал, как Роза наставительно сказала дочери:

– погоди фыркать-то, а лучше подумай над моими словами!

Что они говорили дальше, я не расслышал, так как не придавал этому разговору никакого значения.

Однако в следующие дни мне пришлось невольно заметить, что мать и дочь серьезно и усиленно совещаются о чем-то. Иногда до меня долетали обрывки фраз, теперь совершенно ясные, но в то время казавшиеся какой-то абракадаброй. Я понимал только, что Адель туго соглашалась с доводами матери, но что это были за доводы? Я привык не спрашивать о том, о чем мне добровольно не говорили, собственным же умом добраться до смысла этих загадок казалось совершенно невозможным.

Да и как было понять, например, следующее:

– Милая моя, излишнюю щепетильность надо заранее отбросить: мало ли кто еще тебе будет попадаться!

– ...Одной преданностью давно заслужил, а тебе-то, в сущности, что это стоит?

– Полно, милая моя, ночью все кошки серы!

– Вот не думала, что ты – такая дура! Человек как человек! Что-то ты не больно до сих пор искала любви. А раз уж из-за выгоды, то, с какой стороны эту выгоду ни возьми...

И так далее, и так далее в том же роде.

Эти фразы вызывали во мне некоторое удивление, но интересовали очень мало: я был всецело полон мыслью о предстоявшей разлуке с Аделью и бережно баюкал в душе тихую, лирическую грусть о грядущем одиночестве. Эта грусть была болезненно дорога мне. Она не поднимала в сердце бури, нет, полное спокойствие воцарилось у меня в душе... увы! — ненадолго.

Вскоре Адель совершенно переменила свое обращение со мной. Резкая, повелительная, бесцеремонная до этого, теперь она стала тихой, ласковой, внимательной. Она искала случая побыть со мной, частенько заходила ко мне в комнату, подсаживалась, брала мои руки в свои, по-детски прижималась и говорила трогательным голосом о том, как ей грустно думать, что придется скоро жить без милого-милого братишки. И весь мой так трудно доставшийся покой быстро улетел под влиянием ее дразнящих ласк, ее обволакивающих, манящих интонаций.

И снова кровь огненным ключом билась в виски, снова вихревая страсть кружила голову...

Бежали сутки, и все труднее становилось мне обуздывать зверя, пробудившегося в крови с неукротимой силой. Мои ночи превратились в хаос

страстных кошмаров, мои дни — в попытку общения с Аделью. А она, словно не замечая моих мук, все усугубляла свою нежность, все беспощаднее жгла меня томными взглядами голубых глаз. Я чувствовал, что недолго выдержу, что давно таящаяся страсть должна будет прорваться, и этот взрыв может вылиться в очень непривлекательные формы. Я пытался отстраниться от Адели, но, чем сильнее было воздействие ее ужимок и ласк, тем настойчивее льнула она ко мне. И наконец то, чего она так долго добивалась, случилось!

В этот день я пришел из конторы позже обыкновенного. Я нарочно придумал для себя экстренную работу, потому что мне страшно было возвращаться домой. Накануне Адель весь вечер просидела со мной на диване, близко прижимаясь ко мне и положив головку мне на плечо. При этом она жаловалась на свою судьбу, которая, наделив ее красотой, не дала возможности пользоваться молодостью. Правда, мужчины домогаются ее, они готовы наперебой сложить у ее ног свое состояние, но ведь так противно отдаваться не любя! А ведь ей страстно хочется любить и быть любимой! Стоят такие чудные дни, весна так щедро и пышно осыпала природу своими дарами, и как хорошо было бы теперь бродить, взявшись за руки, с милым другом в каком-нибудь старом парке за городом! Потом вернуться домой — в простенький деревенский дом, единственным

убранством которого являются цветы... Вернуться и знать, что тебя сейчас приласкает тот, кто тебе дороже всего на свете и кому ты тоже дороже всего... Приласкаться самой и забыться... О, какое неземное блаженство пожить так хотя бы дня два!

Мне стоило нечеловеческих усилий сдержаться и не смять Адели в бешеных объятиях. Но я чувствовал в то же время, что это последняя капля сил и что, повтори Адель такую сцену и в этот день, я не в силах буду обуздывать долее зверя пламенеющей страсти. Вот почему я так медлил с возвращением домой и с таким страхом брался под вечер за ручку двери нашего дома.

Адель, видимо, ждала меня и, заслышав мои шаги, выбежала ко мне навстречу, причем без дальних слов попросту бросилась мне на шею.

— Братишка! — радостно визжала она. — Как я счастлива, как я довольна! Иди ко мне, что я тебе покажу! — и с этими словами она потащила меня за руку в будуар, где на столе искрилась всеми цветами радуги бриллиантовая диадема, стоимостью не в одну тысячу экю^[9], а рядом белел кусок бумаги. И то, и другое составляли предмет радости и гордости Адели: бумажка при внимательном рассмотрении оказалась письмом маркизы де Помпадур, в котором королевская фаворитка сообщала, что его величество был огорчен вестью об утрате, постигающей французскую сцену с отъездом такой лаповитой артистки. и шлет ей вместе с монашним

таким даром от армянки, и хотел он вместе с маркизом благоволением маленький подарок. В тоне письма ясно чувствовалось, что этот подарок сделан по представлению и выбору самой маркизы и что это самое обыкновенное «отступное», почти даже незамаскированное. И во фразе, в которой маркиза желала Адели и впредь не терять свойственного ей благоразумия, слышалась скорее ирония, чем желание сказать любезность.

Но для таких тонкостей Адель была недостаточно чутка, и подарок искренне приводил ее в восхищение.

— Нет, ты подумай, братишка, — тормошила она меня, — ты только подумай, вот это я называю поступить по-королевски! Мало ли у его величества было таких, как я! Что я для него — пестрая бабочка, на миг залетевшая в комнаты. Но эта бабочка хоть на мгновение доставила королю отраду, хоть на мгновение усладила его жизнь, и он уже не способен взвешивать и считать! Ведь этот «маленький подарок» — целое состояние! Да, правду говорят, что у королей нет возраста! Такого короля можно любить, будь он уродлив, как сатана, и стар, как Винцент Сенлиссский!^[10] Какой дар, какой щедрый дар!

У меня кровь хлынула в виски. Я довольно неделикатно бросил на стол диадему, которую как раз рассматривал, и сказал, плохо сознавая, что этими словами обнаруживаю свою мучительную страсть:

– Щедрый дар! Старому, изнуренному пьянством и разнузданностью псу молодая прекрасная девушка отдает все, что она имеет – красоту, молодость, весеннюю прелесть души; он кидает ей за это одну сотысячную часть своего богатства, и это называется поступить по-королевски! Да ведь Людовик захлебывается в роскоши, ведь эту подачку – да, да, не щедрый дар, а подачку! – он бросил тебе так же, как кинул бы голодной собачонке корку хлеба с полного стола! Да разве счастье обнимать твой стан...

Я остановился на полупhrase: страсть душила меня и судорогой сводила горло.

Лицо Адели вспыхнуло радостью, голубые глаза засверкали торжеством.

– За счастье обнимать мой стан ты дал бы, братишка, больше? – вкрадчиво сказала она, положив мне руки на плечи и кокетливо улыбаясь.

– Больше? – простонал я, окончательно подхваченный и унесенный страстной волной. – Да за один миг разделенной любви, за мимолетное право называть тебя своей я отдал бы все, что у меня есть, все богатства земли, все, все... Но у меня ничего нет... О, лучше тысячу раз умереть в жесточайших муках, чем пылать такой безграничной страстью и сознавать свое ничтожество, сознавать, что нет ничего, ничего...

– Нет, братишка, ты не прав, – пылко сказала Адель, почти вплотную приближая к моему лицу расширенные

от волнения глаза, — у тебя многое есть, чем ты богат и что ты мог бы подарить мне. У тебя есть жизнь, свобода, воля! Покаянись, что ты отдашь все это мне, и я твоя! Посмотри на меня, разве я нехороша, разве я не стою того, что прошу у тебя? Ты молчишь? Ты колеблешься? Гаспар, ведь тебя ждет такое счастье, о каком ты не мог мечтать даже во сне!

Она ошибалась: я не колебался. Я просто молчал, потому что был скован, ошеломлен возможностью счастья, о котором до того действительно не смел мечтать даже и во сне. И не будучи в силах выговорить хоть слово, я вместо ответа схватил Адель и скомкал ее упругое, гибкое тело в своих неуклюжих, сильных, медвежьих объятьях.

Но Адель змейкой вывернулась из моих рук и воскликнула:

— Сначала клятву, Гаспар!

Тогда я хриплым, задыхающимся голосом повторил за нею подсказываемые ею слова, в которых клялся вечным блаженством, спасением души моих родителей и честным словом дворянина, что если Адель станет моей, то я на всю жизнь буду принадлежать ей, не имея ни собственной воли, ни свободы, ни личной жизни, беспрекословно исполняя все, чего бы она от меня ни потребовала.

Когда клятва была дана, Адель сказала:

— Пои к себе и приготовься: мы едем в деревню на

несколько дней!

Через полчаса карета увозила нас в Буживаль.

VI

Всю дорогу до Буживаля мы ехали молча. Я был как-то вне жизни, вне сознания происходящего.

Адель будет моей? И я не умру от счастья на пороге блаженства?

Я взял обе руки Адели, как бы желая убедиться, что она на самом деле едет со мной. Адель ответила мне ласковым пожатием и не отнимала своих рук вплоть до того момента, пока в зеленоватом свете полной луны перед нами не показалась старинная буживальская церковь. Тогда Адель сказала:

– Я слышала, что здесь, за городом, в лесу около Сены имеются очаровательные гостиницы. Как хорошо будет там нам с тобой, мой милый!

Мы скоро нашли, что нам было нужно. Пошатываясь от пьянящей страсти, вошел я в отведенную комнату. Там Адель сбросила прямо на пол дорожное пальто и широко раскрыла мне свои объятия. С хриплым стоном бросился я к ней. Все закружилось и поплыло у меня перед глазами. Только тот, кто знает, что любить – значит умирать в объятиях любимой, поймет мое состояние в тот момент.

Три дня пролетели сплошным восторгом ласк, бредом объятий. К вечеру третьего дня Адель пошла к хозяйке, чтобы распорядиться насчет ужина. Я остался один, и тут впервые мне пришла в голову мысль, что мое счастье кратковременно, что скоро кончится эта лесная поэма и в свои права вступит суровая действительность. А чего стоило это так быстро промелькнувшее счастье! При мысли об этом ужас объял меня...

В этот момент вернулась Адель.

Словно чутьем угадав мои мысли, она нежно обняла меня и сказала:

— Не надо грустить, дорогой, грусть будет потом, когда наша сказка кончится... А конец ее близок, она уже кончается, Гаспар!

Не давая мне ответить, она перегнулась ко мне, обняла, прильнула, и снова мы унеслись в вихре жгучего безумия...

На следующий день мы встали очень поздно, обедали полуодетыми...

Под самый вечер Адель, освободившись из моих объятий, сказала холодно и значительно:

— Сказка кончилась, Гаспар! Через час мы возвращаемся в Париж!

Меня больно поразил этот тон, столь непохожий на недавнее еще нежное воркование влюбленной голубки. Но в то же время я с такой остротой почувствовал, что

сказка действительно кончилась, что молча стал собираться в путь. Скоро четверка сытых деревенских лошадок быстро мчала нас обратно той же дорогой.

Первую половину пути мы ехали молча. Потом Адель заговорила:

– Нам нужно объясниться, милейший Лебеф, чтобы в будущем не было никаких недоразумений. Ты должен понять, что твоя воля и свобода понадобились мне вовсе не для того, чтобы создать себе из тебя покорного друга сердца. О, нет! И глуп же ты, Лебеф, если хоть на минуту мог подумать так! Зачем я буду связывать себя с одним, когда передо мной раскрывается целый Божий мир? Но видишь ли, мне не раз приходилось слышать, что нас, артисток, безжалостно эксплуатируют, если мы не держим при себе мужчину, достаточно опытного, чтобы не попасться в ловушку, и достаточно преданного, чтобы не продать. Многие знаменитости пытались осуществить последнее условие путем крупного жалованья, которое они платили своим секретарям. И что же! Вот тебе пример: при дворе Карла-Эммануила Третьего, короля Сардинии, освободилась вакансия оперной примадонны. Король и его двор не знали, кому из двух конкуренток отдать предпочтение – Капокроче или Скоделлино. Решили устроить между ними своего рода конкурс. Но накануне испытания Скоделлино подкупила секретаря Капокроче, и последний ополчил свою госпожу яловитым питьем так.

и последний момент своей жизни, Адель была так рада, что она не встала больше. Правда, Скоделлино немного выиграла этим: история случайно разгласилась, и негодяйке пришлось спасаться бегством... Ну, да это все неважно. Главное – то, что положиться на постороннего нельзя, своего иногда нет, а без мужчины нашей сестре плохо.

Адель замолчала. Я напряженно смотрел на нее, ожидая продолжения.

И она вновь заговорила:

– Тебя я успела узнать. Знаю, что ты не продашь и не изменишь. Кроме того, ты – ловкий парень: знаешь все эти ваши подьяческие выверты. Да вот беда была в чем: видела я, что ты влюблен в меня, как крыса в сало. При других условиях мы живо поладили бы: не все ли тебе равно, где служить – в идиотской конторе или у меня. Я платила бы много больше. Но благодарю покорно, держать при себе влюбленного дурака, который может ни с того ни с сего закатить тебе сцену, да еще в самый неподходящий момент! Дурака надо было сначала укротить, всецело подчинить себе его волю. Этим-то я и занялась... Не ожидала я, что понадобится столько времени! Но в конце концов, как видишь, я добилась своего! Умора!

Адель опять замолчала: ее лицо расплылось в довольную улыбку. Она, видимо, с наслаждением вспомнила все перипетии той комедии, которую

разыграла. Молчал и я. Даже не вдумываясь в ужасный смысл ее слов, я содрогался от той вульгарной, циничной формы, в которую она облекла свою откровенность.

— Ты должен согласиться, что я со своей стороны более чем добросовестно выполнила принятые на себя обязательства, — продолжала она. — Ведь по смыслу данной тобой клятвы вовсе не надо было напускать столько поэзии, а тем более затягивать ее на такой длинный срок. И все-таки, видишь, сколько я возилась с тобой! Теперь настал твой черед добросовестно выполнить свой долг. Конечно, ты дал достаточно страшную клятву. Но ведь, если ты и лишишься вечного блаженства, мне от этого легче не будет. Так я рассчитываю по крайней мере, что ты хоть попомнишь добром мое великодушие. Знаешь ли, милый мой, таких часов, какие провел со мной ты, я еще никому не дарила, да и подарю ли когда-нибудь — большой вопрос. Ты еще недавно возмущался тем, что король по сравнению со своим богатством был скуп в отношении меня. Так будь ты щедрее!

— О чем тут говорить, Адель! — с мучительным трудом сказал я. — Но что я обещал, в чем поклялся, то сдержу...

— Да ты напрасно драматизируешь все это, Гаспар, — обрадованно подхватила Адель. — Не думай, пожалуйста, что я собираюсь злоупотреблять полученной клятвой.

Очень нужно! Тот, кто служит лишь по необходимости, никогда не служит хорошо... Поэтому не думай, что я хочу даром пользоваться твоими услугами. Очень нужно! То, что для тебя будет крупным жалованьем, при моих доходах – сущая безделица... Я буду платить тебе, и платить хорошо! Не думай также, что я буду злоупотреблять своим господством. Это, милый мой, было бы прежде всего невыгодно для меня самой: мой секретарь должен быть важным, ну, а какая тут важность, если секретаря равняют с прислугой, как это делает плулая Ла-Белькур?.. Словом: ты будешь иметь все, что имел бы, если бы не пришлось пускать в ход комедию со страшной клятвой. А в виде неожиданной премии – наши дни в Буживале... Право же, это совсем недурно...

И опять настало время молчания. Я сидел как пришибленный. Мне припомнилось все, что я слышал отрывками из разговора матери с дочерью, что было для меня тогда так неясно и что теперь сразу осветилось зловещим светом.

Так это был целый заговор!

Мы как раз въезжали через заставу, когда Адель снова заговорила:

– Да, вот еще что. В твоем новом положении будет не совсем удобно говорить со мной на «ты». Разумеется, когда мы одни или в присутствии матери, можешь не стесняться. Но официально...

— Хорошо, так и будет, — плухо ответил я. — Все это для меня неважно... Но теперь, пока мы еще не приехали, пока еще я могу говорить с тобой просто и прямо, как прежде, заклинаю тебя всеми святыми, скажи мне: неужели в затее буживальской поездки тобой руководил только расчет? Неужели вся твоя предшествующая ласковость была только комедией? Словом, неужели ни на минуту в твоём сердце не пробуждалось искреннего чувства ко мне?

— Нет! — резко и прямо отрезала Адель. — Я с детства привыкла подчинять движения сердца разуму. Мать доказала мне, что без тебя нам будет плохо, вот я и взялась привести тебя к необходимому... Впрочем, можешь утешиться! Конечно, я еще не имела случая узнать, что такое любовь, но мне кажется, что там, в Буживале, у меня на сердце шевелилось что-то к тебе. Ты был таким молодцом! Я, со своей стороны, нисколько не жалею о проведенном с тобою времени и даже заранее завидую твоей будущей возлюбленной, потому что, видишь ли, я добрее, чем ты думаешь, и отнюдь не собираюсь мешать твоим подвигам в этом отношении! Ты — молодец, поверь слову опытной женщины! — она потянулась с видом довольной кошечки. — Только не воображай, пожалуйста, что буживальские дни могут повториться! — спохватилась она. — Сказка кончена, милейший, и кончена навсегда, вернись себе это на память!

заруи себе это на носу:

В молчании доехали мы до дома и в коридоре молча простились друг с другом. Я прошел к себе в комнату и там со стоном упал на пол перед Распятием. Грудь разрывалась у меня от бесконечной жажды молитвы. Но молиться я не мог. Да и о чем было молиться? Все равно, я чувствовал себя бесконечно согрешившим перед Господом. Ради минуты торжества плоти я клялся будущими вечными благами... Слова молитвы застывали у меня на устах, и я безмолвно пролежал всю ночь на полу перед святым Распятием...

Утром я написал дяде записочку, в которой просил извинить меня за невольное отсутствие, извещал, что более служить не могу, и обещал в скором времени лично зайти, чтобы объяснить причину совершившегося и поблагодарить его за все сделанное для меня.

VII

Накануне нашего отъезда в Россию я вспомнил, что должен проститься с дядей, и отправился к нему в контору. Дядя принял меня очень сдержанно, но что-то дрогнуло в его лице, когда я просто и искренне объяснил ему, что заставляет меня порывать с настоящим.

— Да, да! — проворчал он. — Значит, приходится продавать контору? Ведь детей у меня нет; только для того и работал я по сию пору, чтобы целиком передать

тебе насиженное дело... Я долго присматривался к тебе, не хотел полагаться на одни родственные чувства, думал, что со временем успею еще сделать тебя своим... Ведь суровая школа помогает выработаться истинному человеку... Но отсутствие семьи губительно повлияло на тебя... Что же делать: моя вина!.. Впрочем, может быть, еще не все пропало, может быть, еще можно как-нибудь поправить все это?

— Дядя! — тихо ответил я, — ведь я дал клятву...

— А что такое клятва? — недовольно воскликнул нотариус. — Что это? Какое-нибудь юридическое обязательство, что ли? Обратись к святому отцу в Рим. Святой отец снимет с тебя неосторожное обещание, и ты...

— Нет, дядя, — почтительно перебил я, — даже Сам Господь Бог, а не то что Его представитель на земле, не может разрешить меня от этой клятвы!

— Это почему? — строптиво спросил Капрэ.

— Да потому, дядя, — ответил я, — что Господь не может покровительствовать неблагородным поступкам. А благородно ли было бы — добровольно вступить в торг, получить плату, которую нельзя вернуть обратно, а потом, ссылаясь на Господа Бога, отказаться от исполнения принятых на себя обязательств?

— Да кому даны эти обязательства, дурак? — злобно крикнул дядя. — Подлой распутнице, слуге сатаны!

— Дядя, — тихо ответил я, — так должны же слуги

Господа чем-нибудь отличаться от слуг сатаны, а не приравняться к ним! В моей будущей жизни — искупление за совершенный грех, и я должен добровольно принять его!

Дядя внимательно посмотрел на меня через очки и буркнул:

— Ты прав. Да простится мне, что, подчиняясь родственным чувствам и симпатии к тебе, я пытался натолкнуть тебя на то, что сам впоследствии поставил бы тебе в вину... Ты прав, и пусть черт возьмет того, кто решится утверждать противное! — при этих словах дядя с силой стукнул кулаком по столу, а затем, словно устыдившись горячности, недостойной испытанного старого нотариуса, продолжал, — итак, будем считать, что свершившееся неизменно. Сожаления бесполезны. Скажу тебе одно: у меня довольно крупное состояние, и я думал завещать его тебе. Но до тех пор, пока ты находишься в рабстве этой госпожи, не видать тебе этих денег! Не для того честное поколение Капрэ купило эти деньги, чтобы низкая развратница пропустила их между пальцев... Ну, да я распоряжусь... Если ты будешь нуждаться лично — напиши мне, я выручу тебя. Впрочем, это ты должен знать и без моих слов. А теперь ступай, простись с теткой! Да смотри, не говори ей правды! Придумай что-нибудь поостроумнее. Она стара, болезненна, слаба и имеет несчастье искренне любить своего беспутного племянника. Правда, только разостроит

своего беспутного племянника. Правда только расстроит ее... Ну, ступай, а потом перед отъездом зайдя опять ко мне!

Возвращаясь домой, я встретил другого человека, перед которым мне было совестно за свое падение: это был князь Голицын. У меня была возможность избежать встречи с ним, так как я завидел его издали и мог свернуть в переулок. Но на свой стыд я смотрел как на искупление, и, когда князь дружески спросил меня, почему так бледно мое лицо и так горят мои глаза, я в двух словах рассказал ему обо всем совершившемся.

Князь ласково взял меня под руку и опять повел в ближайший кабачок.

— Русский обычай требует, чтобы предстоящая дорога была разглажена чаркой доброго вина, — пошутил он, но я чувствовал, что он был искренне взволнован и насилывал себя для шутки.

За бутылкой вина он попросил, чтобы я еще раз пересказал, как все случилось. Я исполнил его просьбу и прибавил:

— Вот видите, князь, лучше было бы вам дать мне тогда спокойно умереть!

— Не вижу, чтобы это было лучше, — задумчиво ответил Голицын. — Я твердо держусь взгляда, что все свершающееся разумно и нужно для неисповедимых целей Творца. Правда, неосторожным шагом вы подвергли себя великим бедствиям, но... Один вопрос

сначала, — перебил он сам себя. — Я немножко философи и люблю проникать в корень вещей. Ответьте мне, пожалуйста, на один вопрос, но ответьте искренне или лучше не отвечайте ничего! Скажите: ну, вот вы убедились, что стали жертвой самого низкого расчета, самой недостойной интриги. Это не может помешать тому, чтобы обладание остроумной девицей Гюс не казалось вам огромным благом. Так представьте себе, что она предложила бы вам вновь пережить повторение лесной сказки. Как вы поступили бы в таком случае?

— И вы еще спрашиваете? — с негодованием крикнул я. — Но, разумеется, теперь это повторение уже невозможно, раз я знаю, как она относится ко мне!

— Однако Гюс могла бы попросту потребовать от вас этого, — заметил Голицын, — потребовать хотя бы на основании того обета послушания, который вы дали!

— Этот обет не может распространиться на то, что не принадлежит мне! — горячо возразил я. — Повторение буживальской идиллии было бы посягновением на мою душу, а в ней я не властен. И лучше пусть я лишусь вечного спасения, чем совершу то, что противно моей чести!

— Ну, вот видите! — с радостью воскликнул Голицын. — Моя теория вполне оправдалась: ничто не бесцельно, и совершившееся только закалило и вооружило вашу душу. Но все-таки, какой дорогой ценой досталась вам эта закалка!.. Как я был бы рад, если бы

нашелся человек, который отомстил бы за вас. Я готов бы и сам взяться за это дело, если бы представился удобный случай... А вы не стали бы ревновать меня? — с улыбкой спросил он.

— Девушка Гюс как женщина отныне не существует для меня, князь! — гордо ответил я.

— Ну, не скажите! — задумчиво возразил Голицын. — Вы слишком долго жили в непосредственном общении с ней. А ведь ваша Гюс... это... это... — он остановился, как бы подыскивая подходящее выражение. — Простите, если мое сравнение покажется вам оскорбительным, — горячо подхватил он снова, — но, если вы подумаете, вы должны будете согласиться со мной. Ведь ваша Франция разлагается, умирает; она нуждается в обновлении, а в теперешнем виде — это сплошная могила былых традиций, бывшего величия... Ну, а на могилах часто вырастают совершенно особые цветы. Они пышны, красивы на вид, но отравлены соками того ядовитого разложения, которым питались их корни... Ваша Гюс — это могильный цветок. Она выросла, развилась и распустилась на почве того ужасного падения нравов, которое всегда знаменовало собою начало падения всего государственного строя... Вспомните Рим, вспомните Византию... Да, да, дорогой месье Лебеф, ваша Адель — опасный могильный цветок, и благо вам будет, если вы сумеете в будущем с большим успехом избежать нравственной заразы, которую распространяет вокруг

правильно заразы, которую распространяет вокруг себя это тлетворное растение. Но я верю в Божественную справедливость! Так или иначе, а вы – случайная, следовательно, напрасная жертва. И я верю в то, что найдется человек, который, сам не зная того, жестоко отомстит за грубое поругание вашей души!..

Я ничего не возразил на эту горячую речь милого князя, и мы молча расстались.

А на следующий день почтовая карета уносила нас к пестрым приключениям в далекой Московии: «могильный цветок», взлелеявшую его мамашу Гюс и меня, бедного мечтателя, отравленного его ядовитым, тлетворным ароматом...

notes

Примечания

1

Братишка!

2

Предполагаемым отцом Аделаиды был Лесток,

лейб-медик императрицы Елизаветы Петровны, возведенный в графское достоинство за переворот 1741 г., т.е. при ниспровержении правительства регентши Анны Леопольдовны и воцарении Елизаветы.

3

Автор пользуется в данном случае русским выражением, подходящим по смыслу, но текстуально неверным: чай и теперь не получил во Франции права гражданства, а в те времена им чаще пользовались только как лекарственным снадобьем.

4

На теперешний счет 150 франков, т.е. около 40 рубл. по тогдашнему курсу, или около 200 рубл. по нынешнему.

5

Читателю, интересующемуся этой стороной жизни и деятельности маркизы де Помпадур, предлагаем обратиться к роману того же автора «В чаду наслаждений», изд. А.А. Каспари.

6

Игра слов; по-французски «князь» и «принц» выражаются одним словом.

7

Высокочтимую и уважаемую госпожу.

8

«Очень высокая и очень могущественная госпожа, герцогиня маркиза де Помпадур» – таков был титул королевской фаворитки после пожалования ей в 1752 году «права табурета». Это право приравнивало маркизу почти к членам королевской фамилии. Она могла официально сидеть на королевских выходах, проникать во все внутренние дворы Лувра и Версаля, обязательно присутствовала на всех церемониях; кроме того, ее экипажи и ливреи ее слуг имели цвета и гербы королевского дома.

9

Экю по нынешнему курсу около четырех рублей

Она по внешнему курсу около четырехрублин.

10

Церковь, построенная в 1053 г. женой Генриха I, дочерью великого князя Ярослава, Анной, в благодарность за разрешение ее от неплодия по молитве святому Викентию.